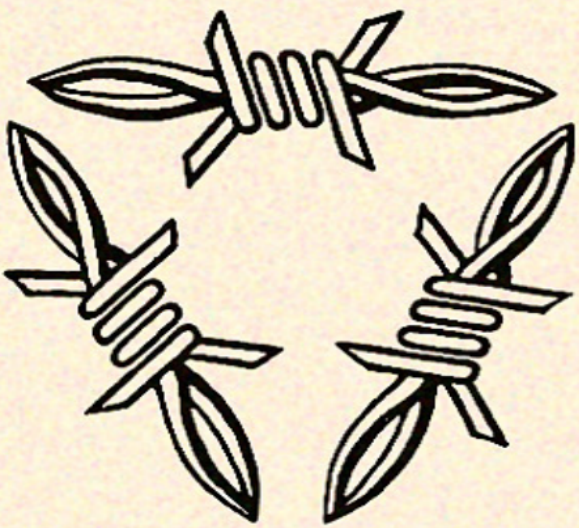
владимир маркман

на краю географии



МОСКВА — ИЕРУСАЛИМ
1979

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Записки советского политзаключённого о своей трёхлетней отсидке в лагере строгого режима в 70-х годах.

- Владимир Маркман
  - За краем нашего мира
  - На краю географии
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16

Владимир Маркман
На краю географии

За краем нашего мира

«…Вот ежели ты ему ножик в горло засунешь, то он глаза выкатывает, за глотку хватается и перед смертью ногами сучит, задыхается, значит. А ежели в пузо, то нож гладко заходит, как в масло. Гы-ы!»

Читателю, который хочет узнать, в каком мире будут жить его дети, кто будет хозяином в этом мире и как он будет управляться, я настоятельно рекомендую внимательно ознакомиться с книгой, которую он сейчас держит в руках.

Это книга этнографическая — в лучшем смысле этого слова. Она пронизана тем чисто научным любопытством, которое испытывает этнограф, столкнувшийся с затерянным племенем в лесах острова Борнео. В ней исследуются специфические нравы, обычаи, ценности, короче — специфическая культура особого племени «жестоких обезьян», затерянного в лесах гулаговских островов. На краю географии, а точнее — уже за краем нашего мира, за своей колючей лагерной проволокой это племя выращивает, быть может, хозяев мира завтрашнего.

Этнографической книге надлежит профессиональное бесстрастие. Владимир Маркман рассказывает о быте, частью которого ему довелось быть в течение трех лет, с такой отстраненностью, которая порой кажется поразительной. Было бы соблазнительно объяснить эту самоисключенность автора из описываемого материала просто душевным здоровьем сильного человека или политической сознательностью убежденного сиониста, попавшего в лагерь мстительными стараниями КГБ и знающего, что срок его нездешних странствий — конечен. Но мне чудится в этом спокойном и холодном бесстрастии естественная реакция и позиция земного наблюдателя на органически чуждую ему марсианскую действительность, которую он не может оценить, но только описать.

В последние годы появилось немало книг, рассказывающих об ужасах уголовных лагерей. Одним из результатов этого литературного потока стало то, что ужасы эти теперь куда более известны читателю, чем, скажем, быт и нравы рыбаков Каспия или нефтяников Сургута. В целом, однако, лагерные книги последних десятилетий остаются в традициях классической русской литературы, всегда с обостренным вниманием относившейся к жизни «дна». Традиции эти (по моему убеждению — глубоко народные) сочетают в себе общедемократическое сострадание к «униженным и оскорбленным» с чисто крестьянским, враждебным неприятием «уголовщины» в ее

чистом виде. Однако в любом случае эти традиции предполагают сохранение некой связи и взаимоотнесенности описывающего и описываемого, как бы составляющих две разные стороны, — но стороны одного и того же мира.

Ужас, сострадание, отвращение, понимание, возмущение, оправдание, даже романтическая героизация уголовного мира — эти основные мотивы современной лагерной литературы — есть лишь разные формы признания неразрывности этой связи.

Книга Маркмана лишена этих обязательных мотивов, как лишена она всяких претензий на социальные выводы или политические обвинения в адрес режима (каковые выводы и обвинения тоже представляют собой скрытое утверждение принадлежности лагерного мира нашему).

Я не знаю другой книги, которая с такой убедительностью демонстрировала бы, что в действительности перед нами — иной и во всем противостоящий нашему мир, образ жизни, культура.

Остается с глубокой тревогой и печалью констатировать, что островки этого чуждого мира существуют и возникают в недрах нашей цивилизации повсеместно и почти неприкрыто, а их значение, как образчиков цивилизации завтрашнего дня, нами всерьез не оценивается.

Когда с черно-белого экрана нам демонстрируют ужасы нацистских концлагерей, наше потрясенное сознание может еще зацепиться за спасительную мысль, что это все-таки человеческое существование, — хотя и в предельно ненормальных условиях.

Когда с того же экрана демонстрируют прилюдное испражнение и совокупление пар на многотысячном хиппистском пляже, невозмутимую и самодовольную исповедь арабского или немецкого террориста, массовое убийство и самоубийство сектантов и Гайане, — тогда сознанию зацепиться не за что, ибо перед ним — совершенно чуждое существование в предельно нормальных своих условиях. Созерцание этой жизни ужасает и зачаровывает одновременно, и сознание находит свое равновесие — свое равнодушие, — внушая себе, что эта жизнь — за краем нашего мира. Разве в нашем может быть такое:

«Ну, взял я как-то пистолет, а она схватила меня за руку — не пускает. Разозлился я, хотел ее застрелить. Она испугалась, стала просить, чтобы я ее не убивал. Под кровать залезла. Я ее выволок, да чего-то жалко мне ее убивать стало. Я ей сосок на груди отстрелил. Она в обморок. Ну, я стал сосать у нее кровь…»

«Я ей говорю: ложись, стерва. Легла. Я на нее. А она не подмахивает. Я слезаю, беру молоток и трах ей по зубам. Выбил зубы. Ну, закрыла она рот платком. Я залез на нее, а она ревет, да подмахивает…»

«Тогда специально пацанов откармливали для побега. Называли их «сухой паек». В дороге ели — как иначе в тайге с одним ножом еду найдешь?»

Это так и есть — это иной мир.

Но представьте себе, что вам в нем жить…

Р. Нудельмен.

На краю географии

Где это? — подумает читатель. Но название это не выдумано. Так порой отвечают бывшие заключенные, вернувшиеся из Сибири, на вопрос: «Где был?»

* * *

На стол с размаху шлепнулась муха, резкими перебежками стала приближаться к стопке бумаги, останавливаясь, потирая лапки, как пьяница перед стаканом водки в холодную погоду. Я обнаружил в ней массу интересного, как-то незамеченного за предыдущие тридцать лет с лишним. Еще бы, ведь это первое живое существо за последние три дня. Следователь не в счет — он существо неживое, он лишь элемент системы, состоящей из стен, решеток, лязга затворов и вони параши. Муха взлетела, так и не добравшись до бумаг. Я наблюдал за ней и вдруг уперся взглядом в зеркало в углу, — там я увидел кое-что поинтереснее, чем муха. Это кое-что представляло собой измятое страшилище со свалявшимися в войлок волосами, воспаленными глазами и бордово-земли стой кожей. Пока я соображал, испугаются ли меня вороны, если я в таком виде буду работать огородным пугалом, следователь достал из стопки лист бумаги и сочувственным голосом вопросил:

— Как же это вы дошли до жизни такой?

А дошел я до жизни такой всего три дня назад. Два милиционера остановили меня на вокзале и предложили зайти в железнодорожное отделение милиции для выяснения какого-то недоразумения.

Потом пришли два сотрудника КГБ, при них меня заботливо обыскали, забрали ремень и шнурки от ботинок: чтобы не повесился сдуру (а то ведь, если советская власть не позаботится, никто не позаботится), — и заперли в полутемную вонючую камеру. Был последний день апреля — время еще холодное на Урале, — и сквозь разбитое стекло заползала злая, промозглая сырость. Я завернулся в плащ, согревавший не более, чем вуаль, и лег на жесткие тюремные нары, кишевшие клопами. Наступила моя первая тюремная ночь — с шорохами, случайным лязганьем замков, звоном ключей, тяжелыми вздохами и туберкулезным кашлем из соседних камер. Казалось, ей не будет конца. Но утро ворвалось в камеру победными звуками первомайских фанфар. Толпа демонстрантов с гомоном и смехом проходила мимо

железнодорожной тюрьмы. Потом они, вздымая знамена, с криками «ура!» пройдут площадью Пятого года, мимо Ленина, застывшего с протянутой рукой, и направятся дальше, к главной тюрьме города, там демонстрация закончится, знамена и транспаранты погрузят на машины, и толпа разбредется по домам.

Теперь, сидя перед следователем, я размышлял, сколько же мне дадут. Раньше ни за что давали 10 лет, теперь — только три года. Несомненный прогресс, но тем не менее… Нет, все-таки больше трех лет не должны дать, потому что, во-первых, ничего не совершал… тьфу ты, черт, опять этот дурацкий аргумент. А во-вторых… Но дальше первою аргумента дело не шло. Нет, больше трех лет не должны.

Ведь в КГБ сулили три года еще до ареста.

— Вот, — ворковал следователь, — заявление на вас. Телефонный разговор с Израилем помните? Три недели назад? — Он протянул мне бумагу. — Вот заявление телефонистки. Она пишет, что, когда слушала ваш разговор, ее возмущало, что вы выражались нецензурной бранью. Видите, она дальше пишет, ей кажется, что брань была обращена либо к ней, либо к телефонисткам станции. Ну, и нас это тоже возмущает. Так что распишитесь, что обвиняетесь в злостном хулиганстве.

Я смотрел на следователя, потом на пугало в зеркале. Да они что, сдурели? Злостное хулиганство — это нужно, чтобы ранее было несколько судимостей, чтобы хулиганство было совершено в общественном месте и с особой дерзостью. А тут, сидел в собственной квартире — и пять лет.

— А вот, — следователь достал второй лист. — Распишитесь: вы обвиняетесь в распространении заведомо ложных, клеветнических измышлений, порочащих советский общественный и государственный строй.

Ну, это еще куда ни шло, три года. Но пять лет за хулиганство?

Возвратившись в камеру, я в злобе заколотил по толстой кирпичной стене, но в ответ не отлетело даже слабого звука. Никто ничего отсюда не услышит, и ничто сюда не донесется, кроме победных фанфар.

И время остановилось. День сменялся ночью, ночь — днем… Единственное яркое впечатление за сутки — когда выводят сливать в уборную парашу. Но это всего минута, надзиратели торопят, а потом опять с лязгом захлопывают двери, и время снова застывает неподвижно.

Наконец, на седьмые сутки, меня запихали в воронок — «стакан» — можно только сидеть, не двигаясь, — и повезли в

главную следственную тюрьму, про которую ходила шутка, что за образцовую работу ей хотят присвоить название «Центральная, ордена Ленина, тюрьма имени Сталина». Выпускали из воронка по одному. Короткие команды — и тебя передвигают, как пешку. Вот заперли в одну из маленьких комнат в длиннющем коридоре. Нигде ни души. Тишина. Внезапно снова лязг замков, короткая, злая команда, и я в другой такой же комнате, затем — на тюремном дворе, где снова видно небо. Вот завели куда-то опять. А, да это баня! Вот здорово!.. Мрачный зэк с машинкой для стрижки волос в руке указал на лавку. В мгновение ока волосы слипшимися комьями упали на пол. Зэк удовлетворенно поднял большой палец — дескать, здорово. Я провел ладошкой по колючему черепу: ничего, была бы голова цела — волосы отрастут. После стрижки заперли в мокрой комнате — мойся как можешь. Райское блаженство: теплый душ после недели в холодной одиночке. Потом назад по пустынным коридорам. Вот остановились возле одной из дверей. Лязгнул замок, дверь распахнулась — заходи — и снова заперлась, теперь уже надолго.

На койке сидел мужчина, лет тридцати, с худым скуластым лицом.

— О, как я рад, что вы пришли! — он весь просиял и бросился помогать мне расправлять тюремный матрац.

Я его радости не разделял и потому промолчал.

— Вот уже две недели я сижу один, — продолжал он. — Думаю, чего это меня оставили одного, уж не провинился ли в чем? Знаете, одному скучновато.

— За что сидите? — поинтересовался я.

— А-а-а, — он назвал статей пять.

— А что это? — спросил я.

— Это… — обитатель помедлил, — это мошенничество. Кража мошенническим способом.

И осмотрел камеру. Небольшая комната. Четыре железные койки поставлены в два этажа. Стол и две табуретки замурованы в цемент — не отдерешь. И, конечно, неизменная лампочка: в камере всегда должен быть свет.

— Не так уж тут страшно, в тюрьме, — заключил я.

— Э-э-э… это вам здорово повезло, — сказал давний жилец. — Здесь спецкорпус. Особо строгая изоляция. А в общих камерах страх Божий, что творится.

— Надежно построено, — сказал я, увидев в проеме для решетки почти метровую толщину стен.

— Этот корпус с екатерининских времен. А остальное здание — нового времени. Раньше этот корпус был один на весь Урал, а сейчас — всего-то малая часть всей тюрьмы. Да садитесь к столу,

у меня тут есть сигареты, вот от пайки хлеба немного осталось, — потом, затянувшись дымом, посмотрел на меня внимательно. — А вы еврей, — уверенно сказал он. — Да? — и ослепительно улыбнулся. — Ну, ничего, — попытался он меня успокоить, — чего в жизни не бывает. За что вас посадили?

— За хулиганство, — ответил я, не желая вдаваться в подробности.

— Что-то не похоже, — сосед недоверчиво уставился на меня немигающими, смеющимися глазами. — Нет, не похоже. Ну да ладно, давайте знакомиться.

Его зовут Леня, ему 32 года, и сидит он за…

— Впрочем, почитаете на досуге — времени много. — Он достал из мешка пухлый пакет. — Это обвинительное заключение, сто двадцать страниц. Итог, так сказать, жизненного пути.

Я раскрыл первую страницу. Обвинительное заключение адресовано примерно десятку лиц.

— А кто остальные?

Леня снова ослепительно улыбнулся.

— Это все я, — охотно пояснил он. — Видите, там везде написано: он же, он же, он же. Вот и Левитан[1] спросил, когда принес обвиниловку, где остальные. А их нет — все он же, он же, он же. Вот прочтите: при обыске изъяли 29 чистых паспортов, остальные — на фамилии, которые здесь приведены.

В коридоре послышался шум.

— Ужин несут, — сказал Леня. — Давайте обвиниловку, потом прочтете. — И сразу же перешел на другую тему. — Вы ели когда-нибудь уху из рыбьих глаз?

Я содрогнулся. Моя реакция привела его в отличное расположение духа.

— Здесь на ужин всегда дают уху из рыбьих глаз. Правда, из глаз протухшей рыбы, но все равно уха.

— Вы давно здесь? — поинтересовался я.

— О! Давно. У меня ведь уже был суд. Но прокурор заявил протест, и меня оставили под следствием по другому делу. Так что я уже семь месяцев здесь. А всего в следственной тюрьме могут держать девять месяцев по санкции генерального прокурора. Так что мне еще два месяца. Ну да ладно, уже подходят.

Лязгнул замок, в кормушку просунулась рука с пайкой хлеба, которую Леня моментально схватил и протянул мне, а затем от той же руки принял две вонючие миски, и кормушка захлопнулась.

В мисках болталась тухлая, дымящаяся масса. Есть ее было, конечно, невозможно, но Леня хлебал ее, выбрасывая на стол кости и какие-то темные шарики.

— Вот это, — пояснил Леня, — и есть рыбьи глаза. А наутро дают вареную кислую капусту. От нее в тюрьме такой запах. Так-то бы и ничего, привыкаешь, вот только ее не отмывают от песка, а с песком есть совершенно невозможно. Да вы привыкнете, все так. Ешьте, не так уж это и противно.

Леня был для меня сущий клад. Знал порядки и нравы, полезно было послушать. Может быть, он специально подсажен ко мне? Но скрывать мне было нечего, и бояться не стоило.

Леня подолгу рассказывал о своей жизни и профессии Он закончил театральное училище, а перед самым арестом окончил первый курс юридического института. Задержали его в гостинице за «работой» — подделкой документов. Судили за мошенничество; ущерб от Лениной «деятельности» был причинен только частным лицам, и ему дали максимум — пять или шесть лет по данной статье. Но Лене крупно не повезло. Трое, все из разных городов, показали, что он в пьяном виде раскрывал чемодан полный денег и пытался их раздавать.

— Сколько было в чемодане денег? — спрашивали судья и прокурор каждого свидетеля. — Пятьдесят, сто тысяч, миллион?

— Не знаю, — стереотипно отвечали растерянные свидетели, заработок которых не превышал 100 рублей в месяц.

— Было очень много денег, — ответил один бедный студент. — В чемодане было только нижнее белье, да еще кое-какие вещички, а остальное — деньги.

А в это время органы усиленно искали банду преступников. По поддельным документам жулики оформляли в магазинах кредит на покупку дорогих телевизоров, радиоприемников и прочих вещей. Тут же продавали их случайным лицам за полцены, а потом обнаруживалось, что платить за вещи, взятые в кредит, некому. По Свердловской области к тому времени набиралось таких кредитов до тридцати тысяч, по Союзу сумма была астрономическая, а справки все прибывали. И тут-то прокурор заподозрил Леню и потребовал продолжить следствие. Его вернули обратно в тюрьму.

— Зачем же ты раскрывал чемодан с деньгами? — спросил я.

— Ничего не мог с собой поделать, — пожал плечами Леня. — Стал спиваться и совсем потерял контроль над собой.

Он рассказывал, как подделывать печати, как свести тушь и чернила с документов, почему нельзя сводить с сетки, которая наносится на некоторые документы, и как переклеить на чужой паспорт свою фотографию с нанесенным на ней оттиском печати

и углублениями.

Как-то раз я пришел с очередного допроса вконец измотанный, и Леня попросил меня расписаться на листе в трех местах. Я расписался и сразу же лег спать, по Лениному совету. Он тоже после допроса ложился и спал по 12–15 часов.

Проснулся я к ужину. Леня протянул мне лист с моими подписями.

— Узнаешь? — спросил он.

Я кивнул. Леня протянул мне другой, такой же, в тех же местах стояли мои подписи — без сомнения, мои! Я не поверил своим глазам.

— Так какие твои? — Леня довольно улыбался.

Но как я ни силился, отличить свои подписи от поддельных так и не смог.

— А ведь было время, я едва не оставил свою профессию, — сказал Леня. — Года два ничем не занимался. Женился. Дело было в Армении. Жена оказалась хорошая девочка, а денег хватало. Но жена умерла в родах, оставив сынишку. Он сейчас у моих родителей. Долго мне его не увидеть.

— А как тебя занесло в Армению?

— О, там у меня была интересная история. Раз оказался я в гостинице в Ереване. А в одном номере со мной находились архитекторы из Москвы, они проектировали памятник армянскому поэту Аванесяну. У них были чертежи трех вариантов памятника, рассмотренных комиссией, с печатями и подписями, все как положено. Но из этих трех вариантов утвердили-то только один. Я выпросил у них неутвержденный… И завертелось. Я купил кожаную папку, положил в нее бланки с фамилиями и росписями и несколько пачек денег, тысяч 5–6 рублей. Я заходил в институты, в проектные бюро и говорил: «Граждане, мы приступаем к сооружению памятника известному армянскому поэту. Денег у нас нет, и мы хотим строить его на пожертвования. Мы обращаемся ко всем, в ком сохранились национальные чувства и любовь к национальной истории, помочь нам в этом благородном деле». А армяне, как известно, отсутствием этих чувств не страдают. Но и отсутствием денег тоже: спекулянтов разного рода, знаешь сам, уйма. Ко мне сбегалась масса народу. Я раскрывал папку — а там уже лежало несколько пачек денег. Дескать, есть еще люди, в которых не угасли национальные чувства… Я только и успевал объяснять: «Вот бланки для лиц, которые хотят пожертвовать деньги в частном порядке». Несколько таких бланков уже были заполнены, и напротив сумм с тремя нулями стояли самые разные подписи, и армянские тоже, которые я поставил сам. «А вот бланки для организаций. Но мы

принимаем деньги только наличными». Если какой-нибудь бдительный гражданин требовал документы — но так было два или три раза, — я показывал официальную бумагу, что уполномочен для сбора пожертвований. Были и такие, что деньги давали, но просили не записывать в бланк. От них я получал больше всего — иногда до пяти тысяч. Какому-нибудь шулеру, сам понимаешь, невыгодно, чтобы его имя было занесено в бланк. Откуда у служащего с окладом в 100 рублей такие деньги на пожертвования? Деньги потекли. Правда, работа была тяжелая. С утра до вечера я собирал деньги. А сгубило меня то, что я совсем обнаглел и решил обобрать партийного бонзу. Тот попросил прийти на следующий день. И ведь чувствовал я, что не стоит, — так поди ж ты, хочется провернуть что-нибудь такое красивое. Ну и попался. Зашел к нему, — и, как всегда, двое просят документы. И, по возможности, настоящие.

— Ну и как, судили тебя?

— О, это был не суд, а смех. С организациями я, конечно, сразу расплатился, — за это срок большой, да и взял я у них немного, но вот с частными лицами я расплачиваться не собирался. Да и сами частные лица не желали, чтобы я с ними расплачивался, особенно те, кто жертвовал крупные суммы. Отвертелся я — дали очень малый срок. И хоть заплатить пришлось порядком судьям и следователю, но мне все равно денег много осталось.

Леня замолчал, улыбаясь собственным воспоминаниям. Наступила тишина. В камере напротив раздался душераздирающий крик — кого-то били. Протопали надзиратели, звякнули ключи. Из открытой камеры выбежал тот, кого били, и, грохнувшись на пол, с надрывным стоном дышал после драки.

А между тем я мучительно думал, как опровергнуть обвинения телефонистки. Не было никаких свидетелей, кроме нее, и ей, конечно, верят, да и как иначе? Ведь ясно, что она писала по указке КГБ. Ну, такой плохой работы я от них не ожидал. В газетах с благородным негодованием пишут, что в странах проклятого капитала существует унизительная практика подслушивания телефонных разговоров, а тут не только не стыдятся признаться в этом, но и выставляют подслушивавшего свидетеля. Да еще подслушиватель оскорблен, что подслушал нецензурную брань, а потому просит меня судить.

Следователь изредка меня вызывал, и процедура эта была не из приятных: около часа держали в «стакане» — крошечной каморке с высоким потолком, усиливающим тягостное чувство безысходно ст, со стенами, разделанными «под шубу» — с шероховатой, режущей поверхностью, чтобы нельзя было

прислониться. Самые закоренелые лагерники не могли долго вынести там — начинали барабанить в дверь, рискуя, что на них наденут самозатягивающиеся, разрывающие кожу тонким металлическим тросом наручники или изобьют. Потом следователь по десять часов кряду вытягивал душу — я начал понимать, почему Леня после допросов ложился спать. Ведь ему грозило пятнадцать лет или расстрел, а мне не более пяти. Правда, прибавилась еще третья статья — разжигание национальной розни, но общий срок она увеличить не могла, ибо по закону он не должен превышать срок самой тяжкой статьи, в данном случае — пять лет.

Я решил посоветоваться с Леней. Он внимательно выслушал и ненадолго задумался. Потом стал рассуждать вслух.

— Посмотри, — сказал он. — Телефонистка сразу обратилась с жалобой к областному прокурору. А ты спроси ее, записала ли она это в книгу, в которой регистрируют обычно все происшествия во время дежурства. Я уверен, такая книга есть на каждой станции, и уверен, что она там ничего не написала. И спроси, обратилась ли она с жалобой к своему начальству? Попросила ли, чтобы отключили твой телефон, раз ты такой хулиган? Если это проделки КГБ, то ясно, что они это не предусмотрели и она ни к кому не обращалась. И далее, спроси ее, откуда она узнала, что это ты? Ведь телефон, как ты говоришь, записан не на твою фамилию. Допустим, скажет, что узнала тебя по голосу. То есть тот голос, который она слышала по телефону, похож на твой в данный момент. Но телефон искажает голос. Если она часто слышала твой голос в живом разговоре, то может узнать его и по телефону, но не наоборот. И далее. Ты ведь не разговариваешь с ней по телефону. Просто принимаешь от нее разговор. А сколько раз в день она соединяет абонентов? Разве возможно всех запомнить по голосу?

Леня нашел тысячи доказательств против телефонистки. Мне и в голову это не приходило. Его советы мне сильно помогли. Свидетельница действительно оказалась на суде в дурацком положении. Но советоваться с Леней по главному пункту обвинения — в распространении антисоветской пропаганды — я не стал. Тут обвинения были просты: протестовал против судебных преследований невинных людей, подписывал протесты вместе с сионистски настроенными лицами. Вполне достаточно.

«Ведь это не шутка, — объяснял мне следователь. — Вы знаете, что раньше за это бывало? Знаете? Вы обнаглели». В такие моменты мне хотелось его обнять и сказать: «Родной, успокойся, вернутся еще эти времена».

А у Лени тем временем настроение ухудшилось. С допросов

он приходил насквозь промокший от пота. Вызывали бухгалтеров магазинов, принимавших заказы на покупки в кредит, но ни один не опознал его. Для Лени это был, конечно, блестящий аргумент. «Как это может быть, — говорил он следователю, — что я по десять раз на день заходил к одному и тому же бухгалтеру оформлять кредиты, и он ни разу меня не узнал? Да ведь он бы сразу заявил в милицию. А сколько магазинов? И в каждом из них по нескольку раз в день я, судя по документам, оформлял кредиты, и никто не обратил внимания, что это один и тот же человек под разными фамилиями? Да вы в своем ли уме? Может ли такое быть?»

Но доказательства прибывали. На каком-то вокзале из камеры хранения сдали в милицию невостребованный чемодан. Там обнаружили деньги, и немалые, несколько паспортов на разные фамилии, с печатями, но без фотографий. А на одном из паспортов — Ленину фотографию и одну из фамилий, на которую были оформлены кредиты. И хотя даже на этот раз бухгалтер не опознал личность, Леня как-то раз, глядя вниз на окна камер, где находились приговоренные к смерти, сказал мне с улыбкой: «Скоро я буду смотреть на тебя оттуда».

— А как же ты мог так менять внешность? — спросил я как-то раз.

— А разве это был я? — спросил Леня. — Я ведь только рассказывал, в чем меня обвиняют.

Впрочем, он с охотой перечислил все способы наложения грима: и японские шарики, изменяющие форму носа, и резиновые шрамы, и мази, и парики. Он с удовольствием демонстрировал свою способность изменять голос — от детского до голоса пропившейся старухи.

Раз, во время прогулки по тюремному двору, он нашел какую-то букашку. «Смотри, — сказал он, — живая тварь». Я вспомнил о мухе в кабинете следователя. Букашка ползла по ладони, по длинным пальцам Лени — пальцам артиста и профессионального преступника. Потом расправила крылья и растворилась в голубой дали.

Следствие по моему делу заканчивалось. Я узнал многое о жизни в тюрьме. Я узнал, что по утрам время течет быстрее, чем днем, а вечером превращается в настоящую пытку, что в соседней камере тебя услышат, если ты будешь говорить в кружку, приставив ее к водосточной трубе, как передать другому махорку, когда выводят на прогулку в тюремный двор. И что неумолимой судьбе можно противопоставить безразличие к ней.

Закончились очные ставки. На одной из них действующим лицом был бортпроводник Иткин — еврей, внештатный

сотрудник милиции, который даже не скрывал свою связь с органами и по тупости написал об этом в своих показаниях. Следователь не обратил на это внимания — ведь Иткин показания давал сначала в КГБ, а не в милиции. Очная ставка протекала примерно так.

— Говорил ли вам подследственный, что в Советском Союзе нет демократии? — спрашивал, не улыбаясь, следователь.

— Да-да, он говорил, что демократии нет, — соглашался Иткин.

— А где он это вам говорил?

— Он мне говорил это наедине.

— А говорил ли он вам, что в Израиле демократии больше, чем у нас, и все евреи должны ехать в Израиль?

— Да-да, говорил, — послушно отвечал Иткин.

Следователь записывал в протокол.

— Правду ли говорит гражданин Иткин? — обратился ко мне следователь, и лицо его сделалось участливым и добрым.

— Как вы можете записывать такую чушь? — спросил я.

— Значит, вы считаете, что это неправда? — на лице следователя такое недоумение, как будто он обнаружил, что по пьянке обнял в темноте вместо родной мамы еврейского раввина. — Но зачем гражданину Иткину лгать? Он только что сказал, что никаких личных счетов у вас с ним нет и он к вам никакой вражды не испытывает. Да и вы признали, что у вас не было никаких ссор. Иткину нет смысла лгать. Вот видите! Мало того, что вы агитировали евреев выезжать в Израиль, вы и здесь себя нехорошо ведете. Не осознали. Честный человек тут рассказывает все, как было, а вы, вместо того чтобы добросовестно во всем признаться, изворачиваетесь, пытаетесь опорочить свидетеля. Стыдно!

— Ну и спектакль, — сказал я Лене в камере. — Конечно, этот болван писал показания по указке КГБ, но там даже не удосужились придумать что-нибудь разумное. В нормальном суде никто не стал бы разбирать такую ерунду, раз он признался, что является внештатным сотрудником милиции. По закону он в этом случае не имеет права давать показания. Но тут-то суду будет все ясно. К тому же он утверждает, что говорил со мной наедине, без свидетелей. Поди, докажи, что я с ним, кроме как о мясе, которое просил привезти из Москвы, ни о чем никогда не говорил.

— Тут тоже можно кое-что придумать, — сказал Леня. — Спроси его на суде, почему это он решил сообщить об этом в КГБ на следующий день после твоего ареста, как это, по твоим словам, видно по дате его заявления. Почему не заявил об этом сразу, если уж считал, что об этом стоит заявить? Потом спроси

его: «Как ты ко мне относишься?» Если судья не спохватится и не сделает отвод твоему вопросу, то Иткин наверняка попадется. Скажет, что относится хорошо — ведь он утверждал, что отношения у вас были хорошие, — тогда ты его спроси: «Как ты можешь относиться хорошо к человеку, который, по твоим понятиям, совершил преступление и на которого ты заявил в КГБ?» Скажет, что относится к тебе плохо, — спроси: «Зачем ты встречался со мной? Уж не по какому-либо заданию?» И еще спроси, как он попал на другой день после твоего ареста в КГБ? Нашли ли его, привезли ли его или он сам пришел? Откуда он знал, куда идти?

Ну, Леня! Прямо фейерверк аргументов на абсолютно голом месте!

По тону допросов чувствовалось, что власти решили поскорее закончить дело. Под конец следователь распалился и кричал, что мои друзья устроили в Англии какую-то неприятность у советского посольства, и я впервые ощутил защиту перед властью беззакония. Объявили, что назавтра состоится суд. Но к суду я уже был подготовлен. Ленины советы мне сильно помогли. Ни на один мой вопрос не могли разумно ответить ни телефонистка, ни Иткин. Телефонистке, впрочем, была неприятна ее роль, она и не старалась искать объяснений. Вместо нее выступал судья, который рычал, как охранник, что вопросы не по делу. А вот Иткин вел себя по-дурацки и просто отказался в конце концов отвечать на мои вопросы. На суде статья «злостное хулиганство» была переквалифицирована в «хулиганские действия» — то есть до года лагерей. Статья «разжигание национальной розни» не была применена вообще, но зато по антисоветской статье приговорили к трем годам строгого режима, что является нарушением уголовного кодекса: строгий режим дают только лицам неоднократно судимым, а меня привлекали к суду в первый раз. Итак, три года лагерей с уголовниками-рецидивистами.

Вспомнились мне крокодиловы слезы школьных учителей, рассказывавших, как царь помещал коммунистов в тюрьмы с уголовниками, чтобы сделать наказание более тяжким. «Нигде в мире, — утверждал учитель, — не применяли к политическим более жестоких мер».

Только в России. Только к коммунистам. Только коммунисты. Только в России.

* * *

После суда заключенного сразу же переводят из следственной камеры в камеру осужденных. Задерживаться в старой камере не дают ни минуты. Леня успел помахать мне рукой — и дверь скрыла его от моих глаз навсегда. Что с ним стало впоследствии, мне неизвестно. Помнится, он улыбнулся ободряюще, дескать, три года — детский срок, не робей.

Так, с детским сроком и матрацем за спиной, я зашагал в сопровождении надзирателя в камеру осужденных. Все двери были настежь, но дверные проемы забраны толстой решеткой, из-за которой меня внимательно разглядывали наглые, злобные рожи бритых оборванцев. Меня запихнули в одну из вонючих камер. Комната была около сорока метров, а находилось в ней человек пятьдесят. Они валялись в неопределенного цвета тряпье на трехъярусных нарах. Место мне нашлось на самом верху. Началась совсем иная жизнь. Судьба моя была уже решена. Стоило оглядеться.

Камера походила на сумасшедший дом. Картежники резались в карты, а в конце игры били друг другу рожи. «Интеллектуалы» предпочитали шахматы. Победителя нередко били по голове доской и фигурами, которые были изуродованы накалом страстей. Из всей массы уголовников выделялся один — маленький, худой, с изможденным лицом старого лагерника. Он подходил к решетке и хорошо поставленным голосом, очень похожим на голос знаменитого диктора Левитана, декламировал: «Внимание, внимание! Говорит Москва. Передаем сообщение ТАСС. Лярва Кларка из Березников откусила Андропову ухо. Начальник свердловской тюрьмы шлет ему искренние соболезнования и пожелание успехов в работе. На этом мы заканчиваем сводку сообщений. Передачу вел диктор московского радио Дурак». Или: «Внимание, внимание! Говорит Дурак! Работают все радиостанции Советского Союза!» Он пародировал зачин, которым Левитан начинал передачи правительственных сообщений о запуске космических кораблей. Шла такая неприличная и веселая галиматья, что вся тюрьма животики надрывала со смеху. Как-то раз, проснувшись — не помню, ночью или днем, ведь в тюрьме они почти не отличимы, — я при тусклом свете единственной лампочки увидел перед собой Дурака. Жестокое лицо вечного каторжника, пронизывающий, неподвижный взгляд, землисто-серая кожа, лохмотья на татуированном теле…

— Послушай, — вполголоса сказал Дурак, — я вижу, ты один здесь понимаешь в законах. Как думаешь, есть у меня возможность свалить в лечебницу для алкашей? У меня вообще-то уже есть пять лет, но есть и справка эксперта, что я алкоголик. —

Он показал мне свой приговор. — Мне обязательно нужно туда свалить. Здесь приходится играть дурака — доносчиков знаешь сколько? Сейчас мне шьют труп. Если докажут, что это я, — тогда вышка.[2]

Я пытался разглядеть хоть какие-нибудь чувства на лице человека, которому мог быть вынесен смертный приговор. Но Дурак лишь скривился презрительно и злобно, как просто от очередной неприятности в своей звериной жизни.

— Почему обязательно вышка? — спросил я.

— Вышка, — уверенно подтвердил Дурак. — Чего еще можно мне вынести? Это же не первое убийство. Да и вообще, чего еще ждать от такой падлы, как я? Будь я на месте этих юристов, я бы спалил всех, кто сидит на особом и строгом режиме. Всю эту падаль спалил бы.

— Сколько ты всего отсидел?

— Я всю жизнь сижу, — ответил Дурак. — С детских лет. Мне сейчас под сорок, из них 25 лет отсидел. То в лагере срок добавят, то на свободу немного выскочишь. Ну, а со свободы опять в тюрьму. Разве можно жить на свободе?

— Ну почему же? — возразил я. — Устроился бы на работу. Хоть какие ни на есть — а деньги.

— Работа! — раздраженно сказал Дурак. — Я вот сейчас вышел. Думал, хватит — надоело по лагерям да по тюрьмам шататься. Поступил на ВИЗ, на прокатку. Знаешь, что это такое?

Да, это я знал. Был на экскурсии на заводе. В цехе прокатки экскурсанты не могли простоять и пяти минут. Едкая гарь разъедала глаза. Стоял оглушительный грохот прокатных станов. На расстоянии нескольких метров с трудом можно было разглядеть, как между двух валков продавливали раскаленный красный лист железа. Рабочий хватал его клещами и забрасывал между крутящихся валков другому, который с противоположной стороны подхватывал этот лист такими же клещами и бросал обратно в стан, и так продолжалось, пока не получался тонкий лист. Работа была тяжелая и опасная: зазеваешься — раскаленный лист упадет на ноги. Здесь дня не проходило без травмы. Только бывшие заключенные соглашались на такую работу, лучшей им все равно не найти. Но в последнее время не шли и они, предпочитали тюрьму. Поэтому местная власть намеревалась перестраивать завод. Коллега по работе рассказывал мне, что, когда он захотел успокоить рабочих своего цеха, раздраженных низкой заработной платой, он повел их на экскурсию на ВИЗ — после этого целый год рабочие не заикались о повышении расценок.

— Да и как жить волку среди людей? — спросил Дурак. —

Напьешься — побьешь кого-нибудь или зарежешь, ведь нормально уже никогда не будешь жить.

Дурак соскочил с нар и подбежал к решетке. В коридоре молоденькая заключенная мыла пол. Зэки столпились, жадно ее разглядывая. Девушка, заметив, что надзиратель не следит, подошла к решетке. На лице ее отразилась какая-то странная смесь страха и бесстыдства.

— Сигареты есть? — прошептала она.

— Есть, — сказал Дурак и протянул сигареты так, чтоб она могла их достать, только просунув руку в решетку.

Едва ее ладонь очутилась в камере, зэки притянули ее за руку к решетке и кинулись жадно ощупывать ее тело. Девица заорала благим матом. Сбежались надзиратели. Зэки надрывались от смеха. А девица, которую уже оттащили, прижалась к противоположной стене коридора, дрожа от ужаса и отвращения. Дверь закрыли, и в камере стало невыносимо душно. Стояла жара, да еще все курили махорку — не продохнешь. А Дурак уже вещал с верхних нар у окна, закрытого железным козырьком:

— Внимание, внимание! Передаем сообщение ТАСС. Запущен космический корабль. Корабль пилотирует известный космонавт-рецидивист Дурак. Настроение у Дурака хорошее. Все его приборы работают отлично. На Землю Дурак возвращаться вообще не собирается. На радостях он сдуру поет свою любимую песню «Вернись, дешевка, будешь кушать шпроты».

Я заговорил с ним как-то о лагерях. По его подсчетам, в Свердловской области их около ста, причем большинство строгого и особого режима, то есть для рецидивистов.

— Как же получается, — спросил я, — что рецидивистов значительно больше, чем людей с первой судимостью?

— Очень просто, — ответил Дурак. — Человек, попавший в эту систему, уже никогда из нее не выходит. Даже те, кто случайно попал в тюрьму — ну, скажем, шофер какой-нибудь сбил человека или еще чего, — он уже не нормальный человек. Выйдет — и обязательно снова попадет. Он уже здешний, никуда не денется.

Дурак перечислил лагерь за лагерем, давая каждому несложную характеристику.

— Если повезут тебя на «командировки» поблизости — это ничего. Правда, народ там все ссученный. Но работа не такая уж тяжелая. В северных лагерях — все лесоповал. Дорога туда нехорошая — по реке на баржах, в трюмах. Как запрут в трюме — так и везут две-три недели, света Божьего не увидишь. Ну блатуют — там, конечно, — не все выходят живыми из трюмов. Там надо быть с духом. Иначе, гляди, зарежут.

— А ты не боишься блатных? — задал я наивный вопрос.

Дурак искренне удивился:

— Я? Да я блатных палкой гоняю. — Он перешел на рык. — Чтобы меня кто тронул? Да эта сука места себе не найдет на земле.

* * *

Распределение на этап шло ночью. Тусклую камеру до отказа напихали уголовниками. Здесь, в пересылке, собралось отребье со всех концов европейской России и Урала — их гнали на восток, в Сибирь. Пристально оглядывали они друг друга, определяя волчьим нюхом, кого можно обобрать, а кого следует бояться. В углу кто-то варил чифир — кружка воды на пачку чая. Свежему человеку этот напиток показался бы просто противным пойлом. Но если пить чифир постоянно, да на голодный желудок, да еще закурить при этом, слегка пьянеешь и совершенно притупляется чувство голода. Кто в лагерях по десятку и более лет, вообще не могут без чая, а достать его в тюрьме трудно. И из-за чая возникают между зэками жестокие драки.

Чифир кипятили, разогревая кружку подожженной тряпкой, закрученной в жгут. Камера полна была ядовитым дымом. Открылась кормушка в двери, и женщина-надзиратель, матерясь по-лагерному, пригрозила изолятором, если не прекратят. Не помогло. Кормушка закрылась. Несколько счастливых обладателей чифира попеременно отпивали по два глотка, передавая друг другу драгоценный напиток. Камера с завистью смотрела, но подойти никто не решался. Еще бы!

В этапке чифир могут себе позволить только избранные. Среди них выделялся один, по виду армянин. Аккуратная бородка придавала ему почти интеллигентный вид; дорогой, теплый свитер, меховая шапка и новые ботинки бросались в глаза на фоне грязно-серого, одетого в лохмотья сброда. Армянин не казался похожим на уголовника, и я удивился: как это он сюда попал. Я еще не знал, что хорошо одеты на этапах только те, которые терроризируют остальных, раздевают их и обыгрывают в карты.

Около часа ночи стали вызывать по фамилиям в соседнюю камеру. Назови статью, срок, раскрой мешок, — но обыскивали поверхностно: все равно в ночной спешке найти бритву, деньги и наркотики у такой публики почти невозможно. Дали три буханки черного и пакет протухшей кильки.

— Паек на три дня, — объявил офицер. — До Красноярска.

Это было для меня неожиданностью. По закону должны направлять в лагеря той области, в которой судили. А до Красноярска — почти три тысячи километров. Впрочем, какой уж там закон, когда и сам срок дали ни за что. Нас выгрузили из воронков во дворе железнодорожной станции за высоким деревянным забором, и тут я впервые за полгода вдохнул чистый воздух и увидел над головой настоящие звезды! Они светили из других миров и были далеки и заманчивы, как свобода, к которой предстоял нелегкий и длинный путь. Начальник конвоя построил нас по пятеркам:

— Прекратить разговоры!

Колонну зэков окружили солдаты с автоматами наперевес. Тишина прерывалась только хрипом овчарок, которые рвались с цепей, задыхаясь в ошейниках.

— По дороге к вагону не делать резких движений, не прыгать вверх и не выходить из строя более, чем на полметра, — как будто хлестал кнутом начальник. — В нарушителей конвой стреляет без предупреждения.

По высоким ступеням я взобрался в Столыпин — специальный вагон для перевозки заключенных. Он похож на обычный купейный вагон, только вместо дверей — решетки от пола до потолка. Окон, конечно, тоже нет. И помещается в каждом «купе» не четверо, как в пассажирском вагоне, а 25–30 человек.

Сверху донизу решетки были залеплены притиснутыми звероподобными рожами стриженых зэков. Они, как псы, скалили зубы и что-то орали каждому входящему. В вагоне стоял оглушительный рев. Я попал вместе с армянином в тройник — купе меньше обычного, с тремя полками одна над другой. Но затолкнули нас восемь человек, так что двое улеглись на верхних полках, а шестеро — на одной нижней. Тут перессорились бы и нормальные люди, а у этой публики драки вспыхивали постоянно. Всех запихали, против каждого отсека встал вооруженный охранник, и поезд тронулся.

Конвой состоял из узбеков, казахов, таджиков — словом, из тех, кому не жалко стрелять в русских. (В южных республиках конвой состоит из русских — они убивают нацменов вполне равнодушно.) Крики и ругань не утихали в вагоне ни на секунду. Дым разъедал глаза — курили почти все, в основном махорку. Вагон вообще не проветривался. Армянин на второй полке стонал, корчась от болей в желудке. От кильки страшно хотелось пить, а воды не давали. Это давняя традиция — давать на этап кильку или селедку, а потом не давать воды. Возле армянина суетился парень лет двадцати пяти. С виду он был отчаянный,

хотя и росту маленького, и тщедушный. Сквозь решетку он шипел охраннику:

— С-с-сука, стоишь тут, падла, поставить бы тебя раком.

— Отойди от решетки, — рычал охранник, молодой узбек. — Отойди, а то сейчас выволоку, наручники надену.

— На, — не унимался парень, протягивая руки, — надевай.

Но охраннику, видно, не хотелось связываться, он пока ограничивался угрозами и матерщиной.

— Принеси воду, падла, — не унимался парень. — Принеси, видишь, человек мучается, — он указал на армянина.

— Заткнись, курва, — сказал узбек. — Наручники надену.

Парень достал из тайников своего рюкзака какие-то таблетки, пачку сигарет и еще что-то и положил армянину на полку. Звал он его Серегой. А Серегу знал весь вагон. Когда Серега переговаривался с кем-то из своих друзей за два отсека от нас, даже полосатики, особо опасные рецидивисты, в отсеке рядом немного стихали. А уж эти-то плевали на всех: чтобы суд вынес определение «особо опасный рецидивист», необходимо, чтобы за преступником числилось не менее трех тяжких преступлений, таких, как убийство, изнасилование, вооруженный грабеж. Срока они получали большие. И лагерный опыт за ними стоял 15–20 лет. Эти-то знали, когда нужно помолчать. Серега закурил и сразу закашлялся.

— Совсем не могу курить, — с сильным армянским акцентом проговорил он. — Хочешь? — он протянул мне сигарету.

— Легкие, что ли, у тебя не в порядке? — спросил я.

— Да, — ответил Серега, хватаясь за грудь. — Туберкулез. В открытой форме.

Серега сполз вниз и стал просить охранника вывести его в туалет. Тот делал вид, что не слышит. Еще бы! В вагоне ехало несколько сот человек, если каждого выводить, так только этим и придется охранникам заниматься.

Внезапно Серега стукнул ладонью по решетке с такой силой, что на миг показалось: она сейчас расколется.

— Открой, падла, а то выйду — глаз вырву, — сказал Серега. — Мне все равно не жить на свете.

Урки орали, требуя, чтоб охранники вывели его в туалет. Конвойный схватился за пистолет и посмотрел на Серегу свирепо, но вместо страха увидел свой приговор. Да, этот зэк, кажется, слов на ветер не бросал, и охранник это понял. Серегу вывели. После него стали выводить остальных. А потом даже принесли бачок с водой. Охранники торопили — пей быстрее. Кружка была одна, и Серега, как самый уважаемый, пил первый, а после него — остальные. Задумаешься на миг: у него же открытая форма

туберкулеза — однако только на миг, потому что на все уже наплевать. Да и вообще, кто попал в тюрьму, не знает, выйдет живым или нет, так уж до тонкостей ли тут — за кем пить?

Рев в вагоне не умолкал. В одном из отсеков дрались — били молча и, видимо, с чудовищной жестокостью, так как в женском отсеке бабы завопили, чтоб охранники разняли дерущихся. Тем была неохота, но все же отсек открыли и одного из дерущихся перевели в другой конец вагона. Зэк на ходу зажимал ладонями разорванный по углам губ рот. Кровь хлестала у него между пальцами. Потом поднялся страшный вой в женском отсеке — бабы били молоденькую зэчку за то, что та отдавалась охранникам в уборной за сигареты. Где-то снова вспыхнула драка, еще более свирепая. Полосатики в соседнем купе ревели: «Бей его, суку, порви ему жопу на 27 частей!» Потом поезд остановился. Вагон стих. Часть уснула. Остальным разговоры уже надоели.

Внезапно я поймал испытующий Серегин взгляд.

— Ты какой национальности? — спросил он.

— Еврей.

— Еврей? — переспросил он удивленно, точно собирался добавить что-то вроде: «Ну что ж, бывает» или «Ничего не поделаешь». Но вместо этого он сказал:

— Ты знаешь, у меня жена еврейка.

Он дружил с еврейской девочкой с детства. Она ему отдалась и, когда его первый раз посадили на шесть лет, верно ждала его все годы. Серегу за буйство в лагерь не отправляли, а держали в тюрьме — то в одиночке, то в общей камере с такими же зверюгами, как он.

— Вышел я, а она уже почти вся поседела. Ну, взял как-то я пистолет, а она схватила меня за руку — не пускает. Разозлился я, хотел ее застрелить. Она испугалась, стала просить, чтобы я ее не убивал. Под кровать залезла. И ее выволок, да чего-то жалко мне ее убивать стало. Я ей сосок на груди отстрелил. Она в обморок. Ну, я стал сосать у нее кровь.

— Зачем… кровь? — спросил я.

Серега равнодушно пожал плечами.

— А потом она все ездила за мной по тюрьмам. Седая вся. И чего ей надо? Плюнуть бы ей давно, ведь все равно ничего не выйдет. Уже 16 лет — все тюрьмы и больницы, тюрьмы и больницы. Туберкулез, скоро помру. Разве досидеть? В лагерь боятся меня выпускать. Людей, говорят, пугаешь.

Уж если опасаются, что он рецидивистов пугает… Но, честное слово, вид у него был вполне приличный.

Снаружи вагона послышалась возня.

— Этап привезли, — сказал Серега.

Охранники открыли дверь в тамбуре. Раздался истошный, полный отчаяния женский крик:

— Витенька! Ой, Витенька! Ой, ненаглядный! Да что ж это такое! Да что ж это, Витенька!

— Малолеток привезли, — сказал Серега.

Женщина с визга перешла на хрип:

— Витенька! Веди себя хорошо, мальчик мой! Слушайся начальство. О-о-ой, что ж это будет-то, Витенька!

Когда паренька провели в крайний отсек перед решетками, даже полосатики притихли. Он был совсем ребенок — ну, лет тринадцать, не больше. Что же это он мог совершить? А шел гордо, запрокинув голову, руки назад, как настоящий преступник. Женщина снаружи не унималась. Поезд тронулся, и ее крики остались позади. Полосатики о чем-то говорили вполголоса, посмеиваясь. Наконец один из них ленивым блатным голосом заговорил:

— Витенька, а Витенька?

— Чего, — отозвался детский задорный голос из камеры малолеток.

— Витенька, ты знаешь, кто здесь едет? — продолжал полосатик таким тоном, будто собирался сообщить, что он — Красная Шапочка и принес пирожки.

— Нет, не знаю, — по-прежнему задорно отвечал Витенька.

— Здесь сидят полосатики, — сказал зэк, подражая интонации воспитательницы детского сада.

Витенька ничего не ответил.

— Витенька, — елейно продолжал полосатик, — а хотел ты ты попасть к нам в камеру?

— Хотел бы, — ответил Витенька.

Звериный хриплый рев вырвался из двух с половиной десятков глоток.

— У-у-у, — надрывались они, хлопая в ладоши и сладостно матерясь. — Эх, хоть на пяток бы минут его сюда! О-о-о, Витенька! Ух, сейчас бы… А-а-а!

— Вот, тридцать пять мне, — сказал Серега, — а 16 уже отсидел. Еще 10 впереди. Свободы совсем не видел. Уморят меня здесь, не выйду живым.

— За что тебя последний раз судили? — спросил я.

— За убийство. Хотели вышку дать, это у меня не первое. Да судьям взятку сунули. Пятнадцать лет дали. А ты за что?

— За политику, — ответил я.

— Да? — Серега удивился. — А почему тебя с уголовниками везут?

— По 190-й содержат сейчас с уголовниками, — ответил я.

— Да-да, — подтвердил его приятель. — У нас в лагере сидел один. И религиозников сейчас тоже в уголовные лагеря сажают.

— Ну и дела, — сказал Серега. — Я в лагерях-то почти не бывал, все по тюрьмам. Уж и не знаю, что на свете творится. Давно их отделили, а потом вообще политических не встречал.

На очередной остановке вывели этап и в отсеках стало немного просторнее. Зэки устали за двое суток от крика, драк и вагонной качки и постепенно стали умолкать. Но в одной из камер какой-то зэк не унимался.

— Каспар, — обратился он к охраннику-узбеку с таким узбекским акцентом, что невозможно было отличить, кто узбек — конвойный или зэк.

— Я не Каспар, — грозно отвечал охранник. — Наручники надену.

— Каспар, — упрямо повторял зэк, — покажи жопу.

— Наручники надену, — огрызался охранник.

— На жопу, что ли? — спросил зэк.

Другие зэки присоединились к забаве и стали наперебой, передразнивая узбекский акцент, уговаривать конвойного снять штаны и показать жопу. Конвойный орал и хватался за пистолет, но ничего не помогало.

— Какой красивый жоп у тебе, Каспар, — говорил зэк. — Дай воткнуть разочек, люблю тебе, хороший.

Но и это надоело, вагон совсем было затих и вдруг… В Столыпин зашел милиционер. Не конвойный, нет, а просто милиционер, в голубой форме, который следит за порядком в городе. Тут поднялось что-то невообразимое. От рева и криков, казалось, рассыпется весь состав. Зэки барабанили в решетку и матерились наперебой. Давно они не видели милиционера — с последнего ареста, для многих несколько лет назад. Вспомнилось им и о свободе, и об аресте, и о погонях — словом, было от чего прийти в яростное возбуждение. Особенно расшумелись полосатики. Серегу они раздражали.

— Постучи им, — сказал он своему приятелю, — скажи, чтоб заткнулись.

Тот послушно заколотил в стенку, и шум у соседей стих.

— Что там за падла колотит в стену? — голос из камеры полосатиков не предвещал ничего хорошего.

— Потише немного! — крикнул Серегин кореш.

— Эй, ты, — ответил полосатик. — Ты думаешь, мерин, что говоришь? Я тебя, курву, зарежу в этапке.

— Кончай орать, — вмешался Серега. — Спать не даете.

— Серега, это ты, что ли? — отозвался зэк, обещавший

зарезать его дружка. Голос стал ласковым, точно он обращался к самому до рому человеку на свете.

— Я, — лениво ответил Серега.

— Так мы ж негромко, Сережа, — все с той же любовью продолжал полосатик. — Но если тебе мешает, так мы можем потише.

Гомон наконец прекратился. Серега уснул, отвернувшись к стенке. Остальные в нашем отсеке тоже задремали, приткнувшись кто где. Серегин приятель достал из мешка затасканную тетрадку и стал листать. Сидел он рядом со мной, и я мог видеть все, что было на измятых листах. А были там выписки из книг, стихи, фотографии и открытки, а то и снимки голых женщин, невесть как попавшие в лагерь. Польщенный моим вниманием, зэк похвастал:

— У меня была лучшая тетрадь в лагере. Мне за нее две плиты[3] чая давали — не отдал.

Я подтвердил, что тетрадь и вправду замечательная. Мы разговорились. Парень ехал из тюрьмы, где сидел с ворами. Это кое-что значило.

Раньше, до 53 года, уголовники разделяли друг друга по особым категориям — по мастям, как они выражались. Высшей мастью считались воры в законе — то есть те, которые придерживались особой воровской этики. Вор в законе обязан был быть абсолютно честным по отношению к своим собратьям по профессии, помогать им в любых ситуациях, даже если это угрожало смертью, и беспощадно убивать тех, кто нарушил воровской закон: донес, нечестно разделил добычу и т. д. Воровской промысел считался единственно достойным видом добычи денег. Грабеж, насилие не допускались — воры считали, что несправедливо отнимать у человека жизнь или здоровье из-за денег; вот обмануть или украсть — другое дело. Погорюет, успокоится — заработает другие. Грабителей, насильников, хулиганов они считали людьми второго сорта и за малейшую провинность или неподчинение в лагерях жестоко били или убивали. Конечно, немногие соблюдали воровской закон до мелочей. Нарушив свой неписаный устав, спасаясь от расплаты, они бежали к администрации лагеря с просьбой защитить их от воров — так образовалась многочисленная категория «сук» — ссученных воров. В одних лагерях власть над зэками держали воры, в других — суки.

И воры, и суки жили, обирая остальное лагерное население и заставляя других работать на себя. По воровскому закону вор не имел права работать, занимать какие-либо должности, вроде бригадира, например, как, впрочем, не имел права вообще

заниматься чем-либо иным, кроме воровства. Но при всем том воры знали меру и эксплуатировали лагерный люд — мужиков, как они говорили, в определенных границах. У сук же никаких ограничений не было, и не было предела их жестокости по отношению к мужику. На этапах, когда суки встречались с ворами, происходила жестокая резня — администрация умышленно не отбирала ножи ни у тех, ни у других, претворяя в жизнь сталинское пророчество: «Преступность сама изживет себя».

Были и другие лагерные масти, но все это уже давно отошло в прошлое. Во время большой амнистии в 1959 году остались лишь те, кто не дал администрации подписки порвать с воровским законом. Их всех распихали по тюрьмам и многим без всякого суда добавляли срок, чтобы никогда из тюрьмы не выпускать. Но воровская идеология не умерла, и порой к ней присоединялся кое-кто из новых — эти заранее были готовы на любые муки, тюрьмы и лагеря до конца дней своих. Серега, как выяснилось, считал себя вором в законе. А рядом, в купе, ехали суки — оставшиеся еще с тех, со старых, времен, двадцать с лишним лет назад, они тоже свободы не видели или выходили только на короткий срок. А за ними, через отсек, еще один вор в законе, который подписки не дал и сидел безвылазно в тюрьме уже тридцать четвертый год. В лагерь его выпускать боялись — такие, как правило, обладают непререкаемой властностью, железной волей, людоедской жестокостью и абсолютным бесстрашием. Они быстро сколачивали банду на старый манер: не работать, обирать мужика, наводить свой порядок, — а старые времена уже прошли, советская власть установила везде свой порядок, смысл которого я понял позднее в лагере. А сейчас мне стало ясно, почему полосатики притихли. Конечно, и у той, и у другой стороны ножи были наготове, ничтожный пустяк мог вызвать в этапке или пересыльной тюрьме резню. И тогда камера превратится в сущий ад — запечатанный гроб, где это зверье режет всех подряд: если ты не свой, если тебя не знают, и не знают, чего от тебя ожидать, — так уж лучше зарезать, так надежнее. Администрация в последнее время старается не допускать резню. Но если в камере оказались только отпетые — тут уж разнимать не спешат. Во-первых, опасно; во-вторых, убивает друг друга такое отребье, что о нем не пожалеет никто: родственники их забыли, а остальным и вовсе безразлично. Да и забот начальству меньше. Бирку на ногу — и бросить эту падаль в землю, без гроба, без отметки — никакой памяти, кроме короткого медицинского заключения о смерти.

На четвертые сутки поезд прибыл в Красноярск. Все собрали

свои пожитки и ждали. Конвой открыл дверь тамбура, и в вагон ворвался свежий, морозный, пахнущий снегом и тайгой сибирский воздух.

Первыми выпустили полосатиков. Серега презрительно усмехнулся и переглянулся с приятелем. Полосатики попросили конвой их отделить — пояснили мне. Слава Богу — подумал я — резни не будет. Серега тоскливо смотрел сквозь решетку.

— Эх, жаль, — зевая, сказал он, — что мы не попадаем вместе с ними. К одному у меня есть разговор.

Начались обычные перевалочные приключения. В глаза ударили ослепительные брызги света — блеск снега. Но уже нас втолкнули в темный воронок, набитый людьми до отказа. Несколько человек не вмещалось, конвой пытался их затолкнуть, хоть и без того все были стиснуты так, что казалось ребра лопнут от давки. Я не видел, что происходило в дверях: невозможно было повернуть голову. Зэки орали на конвойных, а те запихивали прикладами последнего несчастного — он выпирал наружу, решетка за ним не запиралась. Он орал благим матом, но приклады сделали свое дело, и решетка наконец закрылась. Воронок трясся, раскачиваясь на ухабах, в тряске грудь сплющивало давлением соседних тел все сильнее, дыхание совсем останавливалось, а потом я с удивлением обнаруживал, что еще живу, хотя казалось, что в следующий миг жить не буду. Затем какая-то этапка, неуютная и гнетущая, потом опять «прогулка» в воронке и наконец красноярская тюрьма — настоящие катакомбы, почти без света и воздуха, с бесконечными бессмысленными переходами из одной камеры в другую.

Потом офицер кликал по фамилиям — он был, видимо, тертый, — орал:

— Пошевеливайся, сука, не то сейчас раком поставлю.

Но это была не та публика, что боится.

— Фамилия? — орал офицер какому-то полосатику.

— Корнилов, — равнодушно ответил тот.

— Статья?

— ….

— Срок?

— Двенадцать лет.

— Режим?

— Особый.

— Следующий! — орал офицер.

Сроки были, как правило, большие — от восьми до пятнадцати лет. Режим — только строгий и особый. Мне было даже неловко на вопрос «Срок?» — ответить: «Три года». Офицер не орал на меня, как на остальных. То ли пометка делается на

личном деле, то ли иным способом передают информацию и инструкции, но поддержка из-за границы действовала даже здесь, в подземелье. Тюремщик обращался ко мне, не повышая голоса, корректно, потом вежливо кивнул, давая понять, что опрос окончен, и тут же, обратившись к следующему, перешел на крик:

— Что, падла, ноги отнялись? Поживей, а то сейчас вылечу. Фамилия? Статья? Срок? Режим? Следующий.

Нам раздали грязные матрацы, на которых спали многие предыдущие поколения зэков, и завели в камеру. Я опять оказался с Серегой и увидел его друга — вора в законе, что просидел уже тридцать четыре года в тюрьме. Вор умирал. У него был сердечный приступ. Зэки постелили ему два матраца, где-то достали пижаму и чистую простыню — это просто чудо: в тюрьме простыня — и бережно его уложили.

Потом нас повели в баню. Ну разве что для смеху. Белье велели сдать в прожарку; там при высокой температуре в камере-вошебойке уничтожали вшей. Когда все разделись, произошла немая сцена, как в дешевой мелодраме. Зэки глазели на меня, а я на зэков. Они все были сплошь покрыты татуировкой — от шеи до пальцев ног. У меня же вообще никакой татуировки не было — такого на строгом режиме еще не видели. Баня длилась минут пять, мыла не было. Спасибо, хоть ополоснулся теплой водой после этапной грязи. Надев наши прожаренные одежды, мы вернулись в камеру. Подали в кормушку обед — обычное тюремное пойло. Я, по неопытности, сел в довольно удобное место, но тут же кто-то меня схватил и отпихнул.

— Ты знаешь, кто здесь сидит? — зарычал здоровенный парень.

Я было хотел сцепиться с ним — раздражение дошло до такой степени, что уже о последствиях и не думал, но к моему противнику присоединились еще несколько зэков, и вид их не предвещал ничего хорошего. Если бы дошло до драки, они, конечно, отделали бы меня так, что недолго бы жить осталось, но Серега привстал на нарах и крикнул, чтоб оставили меня в покое.

— А ты, — сказал он мне, — туда не садись. Видишь, туда никто не садится. Там только воры сидят.

Камера кишела клопами. Спать было нельзя. Зэки играли в карты, а уж картежная игра без драки редко кончалась. И драки-то у них не как у людей. У большинства после долгих лагерных лет ни сил, ни здоровья; дрались не кулаками, а все норовили либо глаз пальцем вырвать, либо нос откусить, либо порвать рот, а после, задыхаясь после драки, злобно матерились и расползались по своим местам, чтобы очухаться к следующему заходу.

Через несколько дней меня вызвали на этап. Как обычно, погрузили в воронок, из которого ничего не видно, и через несколько часов выгрузили возле лагеря. Снова перекличка, ворота открылись, и мы по одному вошли в запретную зону. Наконец-то можно было свободно видеть небо над головой. Дышать свежим воздухом. Пройти несколько шагов. Это была значительная перемена.

* * *

Новый этап вызвали на беседу к начальнику лагеря. Вызывали по одному. Услышав свою фамилию, я вошел в кабинет. Там сидело десятка полтора офицеров, а во главе стола, как видно, — сам начальник лагеря, хозяин, как говорят зэки. Не успел я толком разглядеть собрание, как хозяин, взяв в руки папку с моим делом, сказал:

— Владимир Ильич против Владимира Ильича?

Всю жизнь я страдал из-за своего дурацкого имени и отчества. Оно было объектом шуток для каждого, кто хотел поупражняться в остроумии. Но теперь наступил мой черед.

— Мы совсем разные по масштабу с тем Владимиром Ильичом, — сказал я. — Тот просидел в общей сложности год и четыре месяца, а мне сразу дали три года.

— За что вы были осуждены первый раз? — спросил начальник лагеря.

— Это моя первая судимость.

— Не может быть. Такого еще не бывало, чтобы человек с первой судимостью попал на строгий режим. Это противоречит закону.

— В таких делах, как мое, не до законов.

— Вы спросите здесь любого — и он вам скажет, что его посадили ни за что. Но относительно режима мы проверим, и если это так, то подадим от имени администрации жалобу на изменение режима.

После этого один из офицеров спросил:

— Какой национальности были осужденные преступники, в защиту которых вы выступали?

— Евреи, — ответил я.

— Это не имеет никакого значения, — резко оборвал разговор начальник лагеря. — Вы свободны.

* * *

В бараке, где мне выделили место, было сравнительно тепло. Тусклая лампочка освещала ряды двухъярусных коек, разделенных тумбочками. Внутри барак выглядел несравненно лучше, чем тюремная камера, но произвел он на меня куда более гнетущее впечатление. (начала я не мог понять почему. Вроде бы у каждого есть койка, а на ней — матрац, подушка и одеяло, а на тумбочках какие-то самодельные салфетки или приклеенные фотографии актрис из журналов. У моего соседа даже стоял глиняный горшок, и в нем искусственные цветы из медной проволоки и разноцветных нитей. Сосед улыбнулся, показав два ряда металлических, сделанных в лагере зубов, и спросил, кивая на цветы:

— Нравится?

Я устало кивнул.

— Друг подарил, — с гордостью сказал сосед. — Он умер год назад. Мне это от него память на всю жизнь.

Сосед спросил, какой у меня срок. Когда я сказал, он пришел в отличное расположение духа.

— Три года, — сказал он, — детский срок. У, земляк, можешь на одной ноге до конца срока простоять. Хе, на параше можно просидеть.

— А тебе сколько сидеть? — спросил я.

— Да мне-то немного, — ответил он. — Два с половиной года осталось. Я уж не тужу. Я уж одной ногой на свободе.

— А сколько просидел?

— Около пятнадцати.

— Не выходя из лагеря?

— Что поделаешь. Здесь редко кто меньше просидел, — он засмеялся. — Рецидивисты ведь, не шути. Держи ухо востро, а то живо зажуют. Сел — было девятнадцать лет, сейчас тридцать четыре. Совсем не представляю, как люди на свободе живут.

Я наконец понял, почему первое впечатление от барака такое гнетущее. Тюрьма — место временное. Все равно, как выглядит этот вокзал. Напротив, убогий, нищий уют барака говорил об устоявшейся привычной жизни его обитателей, пытавшихся хоть как-то, в меру своего уродливого вкуса, внести крохи домашнего уюта в свой быт. Для них лагерь не был временным местом. Это был дом, в котором они проводили большую часть своей жизни.

Лагерь… Десять убогих бараков окружены забором, четыре ряда колючей проволоки: два ряда сигнальных проводов, лишь коснись — завоет сирена; да еще два ряда путанки — проволоки, закрученной петлями, которые затягивались, если кто-либо попадал в них.

Из жилой зоны в рабочую можно пройти только на обще

лагерных разводах, где всех проверяют по карточкам. При выходе из рабочей зоны в жилую обыскивают, но редко у кого находят запрещенные предметы. Все умудряются проносить в лагерь деньги, ножи, наркотики и даже водку — предмет, неудобный для транспортировки. Вечером зону загоняют на политзанятия — тоже новшество, которого не знали зэки в сталинские времена. На политзанятиях офицеры рассказывают, какая богатая и счастливая жизнь в Советском Союзе, какая большая свобода дается гражданам СССР по сравнению с гражданами стран капитала и на сколько выросло производство мяса, молока и масла за последний год. Как ни странно, после политзанятий зэки никаких вопросов не задают. Тем, кто занят на особо тяжелых работах, дают в лагере «усиленное» питание — дополнительно семь граммов мяса и черпак каши на ужин. Остальным мяса вообще не дают. Так что, всем все ясно.

В шесть часов утра, поднимают и гонят на физзарядку — новшество, введенное в 1972 году. Любопытно было наблюдать, как во тьме зимнего сибирского утра, осыпаемые нежными снежинками, выходят из душных бараков закутанные в грязные негреющие бушлаты уголовники, кто с деревянной ногой, кто без руки, кто без глаза или с оторванным ухом, и уж большинство — с испорченными легкими, с неизлечимыми болезнями, наркоманы, алкоголики, гомосексуалисты. Они выходят на физзарядку. Некоторые взаправду прыгают и машут руками, а большинство заворачивается поглубже в бушлат, курит и глядит в ночную мглу невидящими, ненавидящими глазами. Два раза в день строят всех и выкрикивают по карточкам, чтобы проверить, не сбежал ли кто. И так бесконечно крутится чертово колесо.

* * *

Мое первое утро в лагере началось с криков надзирателей, зовущих на физзарядку. Хмурые зэки нехотя одевались, на ходу бормоча проклятия. Один вообще не проснулся. Надзиратель сорвал с него одеяло:

— Не слышишь, что ли, подъем был?

Тот с трудом разобрал, что происходит, потом оскалил зубы и, подобравшись, как будто для прыжка, заорал:

— Дергай отсюда, пес! Дергай.

Надзиратель тоже заорал, видимо, чтобы приободрить себя, но второй, более старый и опытный, потянул его за рукав.

— Псина паскудная! — не унимался зэк. — Мерин.

Надзиратели поспешно ретировались. Скандалист снова

улегся, а остальные безропотно потянулись на плац.

Какой-то оборванец попросил у меня спички. Я дал ему коробок, и он, закрыв огонек огромными ладонями, запалил толстую самокрутку.

— Спасибо, — сказал оборванец, возвращая спички.

Я удивился такому обхождению и внимательнее пригляделся к нему. Высокого роста, широкоплечий, видимо, силы богатырской, но страшно исхудавший, похоже, давно сидит. Из дыр на телогрейке вылезала грязная вата, одно ухо ушанки было оторвано. Лицо у парня волевое, но не злое, не зэковское. Он улыбнулся:

— Спорт помогает советским людям в труде и учебе, — сказал он, подмигивая. — А вот Саня не хочет идти в ногу с временем!

Саня был зэк, который хотел броситься на надзирателей, будивших его на физзарядку. Парень коротко захохотал.

— А кто не идет в ногу с нами, — у парня появилась мефистофельская улыбка, — того мы… (Он раскрыл свою огромную ладонь, сжал в кулак, как будто заталкивал Саню за шиворот в камеру.) — Вот увидишь, сегодня же Саня будет в изоляторе.

Парня звали Миша. Оказался он веселым собеседником. Пригласил зайти к нему в малярку, когда нас выведут в рабочую зону. А Саню и в самом деле запихали в изолятор на десять суток с выводом на работу. Увидел я его на следующее утро в цехе, где делали сундуки: — он сколачивал доски с ожесточением, а лицо его было багрово-землистое от бессонной ночи на голых нарах в холодном изоляторе.

— Вот видишь, — сказал он мне, — как с дураками расправляются. Видно, судьба такая.

— Сдержался бы, — посоветовал я.

— Это не так просто, — возразил Саня. — Сдержанность — качество нормального человека. Среди этой публики ее не бывает.

Он положил молоток в сторону и, сев рядом со мной, закурил.

— Здесь ведь нет нормальных людей, — сказал он. — Разве не видишь? Сумасшедший дом! Да и какая психика выдержит две-три посадки? Я не верю, что даже после первой отсидки человек может выйти с нормальной психикой. А тут РЦД[4], из лагерей не выходят.

Я с удивлением обнаружил под маской матерого лагерника вполне разумного человека.

— Ты кто по профессии? — спросил я его.

— Вор, — ответил Саня.

— Нет, я не о том. Быть может, у тебя есть гражданская профессия?

— А-а-а, — протянул Саня. — Я врач.

— Врач? — удивился я.

— Что, странно? — улыбнулся он. — Да, да. Врач и карманник. Это моя вторая судимость. После первой кончил институт в Ленинграде. Все время воровал. У карманников это очень редко, чтобы больше года ходил на свободе.

— Ну и большой доход был? — спросил я его.

— Дело не в доходе, — ответил Саня. — Деньги, конечно, были. Но главное, если неделю не воровал, то скучно жить становилось, невыносимо. Шел в Гостиный двор или в Пассаж и после двух часов работы выходил весь взмокший — это была нервная встряска, это была разрядка.

Какой-то мужик стал вдруг ржать, как лошадь, и плясать вокруг сундука, как сумасшедший.

— Видишь, — сказал Саня. — Ты говоришь: сдержаться. Здесь у тебя все время депрессивное состояние. Тормозные процессы резко превалируют над возбудимыми. В результате вспышки абсолютно не контролируемы. Своего рода компенсация. И это у всех, независимо от интеллекта. Вот погоди, поживешь немного — сам будешь такой же. Да-да, не удивляйся.

Я пошел к Мише в малярку. Там был сущий ад — нитрокраска издавала тошнотворный запах, кружилась голова. Миша, весь в лохмотьях, вымазанных в краске, забрасывал в сушилку сундуки на полки, там температура была 60°. Увидев меня, он закричал маляру, чтобы прекратил красить, и, схватив за ручку огромный сундук, как пушинку, швырнул его в угол и уселся, приглашая меня сесть рядом.

— Ну и силища у тебя, — сказал я.

— Это уже крохи остались, — Миша смиренно улыбнулся. — Я пришел в лагерь, весил больше 100 килограммов. Здесь есть еще ребята, которые помнят, каким я был. Я из малярки ходил раньше в трусах, босиком в котельную в сорокаградусный мороз мыться, чтобы не одевать на потное тело сменное рванье. А потом посадили в изолятор — там есть одна такая комнатка, знаешь, для самых хороших. Карцер называется. Больше суток там нельзя держать. Там пол бетонный, на нарах иней, а без одежды да без обуви — хана. — Миша махнул рукой и засмеялся. Он давал понять, что над этим можно только смеяться, понять это трудно. — Так вот, продержали меня там десять дней. Вышел я, а на следующий день снова дали, да ту же камеру. После, поверишь, целый месяц с утра, как только заводили на работу, я

залезал в малярке на самую верхнюю полку и там грелся, никак не мог согреться. И потом стал худеть и терять силу. Но это я один только могу вынести, — задорно сказал он. — Обычно на десятые сутки в этой камере у людей начинает течь кровь из горла. А я вот… — он махнул рукой. — Ничего, русский народ все вытерпит. Так ему и надо. Любят его господа за терпение. Во всех книжках пишут, довольные такие: «Терпеливый русский народ». Ничего так не умеет, как терпеть.

Миша рассказал, что преследовали его за то, что он помогал некоему Солнышкину, политзаключенному, сидевшему в этом же лагере по статье 190–1. Его увезли, оказывается, за полгода до моего прибытия.

— Его звали Семен Иванович Солнышкин, — добавил Миша. — Я тебе попозже о нем расскажу. А сейчас надо сундуки таскать. Вон маляр знак делает, скопилось сундуков много.

* * *

Было одно место в рабочей зоне — жестянка, куда мы заходили посидеть немного, отойти от изнурительного стука молотков в цехе и поговорить — ведь в тюрьме, кроме разговоров, нечего делать. Там собирались блатные со всей зоны — они, как и в старые времена, не работали. Правда, давалось им это с большим трудом. Старый зэк, которого звали Леха, гнул там железо и варил для блатных чай. Был он страшно худ и немощен, даже для своих 50 с лишним лет. Кроме лагеря, Леха не знал ничего, ибо просидел, почти не выходя на свободу, всю свою сознательную жизнь. Известен он был тем, что занимался крысами. Для такого хобби лагерь — идеальное место: крысы там величиной почти с кошку, ходили они вразвалку, не спеша, даже когда в них бросали камнями. По рассказам, пару лет назад от них житья не было — обнаглели настолько, что запрыгивали к спящим в постели. Но Леха их с жилой зоны вывел — недаром был специалист. Больше всего он любил выращивать крыс-крысоедов. Он отлавливал с десяток наиболее крупных и сажал в клетку, не давая еды. Крысы начинали пожирать друг друга. Оставшихся двух-трех он выпускал, а те, выйдя на свободу, принимались пожирать своих сородичей. А Леха тем временем готовил вторую партию.

Зайдя в жестянку, я первым делом увидел клетку с крысами. Одна из них, меньшая по размеру, забралась под потолок и прижалась в угол. Леха раскалил длинный гвоздь и начал тыкать им в крысу. Та злобно фыркала, конвульсивно билась, но из угла

ни за что не выходила. Зрители с ленивым любопытством наблюдали за сценой. В это время в жестянку вошел зэк по кличке Варяг. Леха просиял.

— Не хочешь ли, Варяг, чифирку попить? — угодливо залепетал он. — Я живо сейчас кипяток заделаю.

Варяг небрежно кинул ему на верстак полплиты чая и уселся на сундук. На вид ему было лет сорок, роста среднего, худощав, маленькие мутные глаза смотрели на свет Божий тоскливо и презрительно. Варяг был на особом, там зарезал несколько человек и был отправлен в тюрьму, где просидел семь лет, из них три в одиночке. Потом, при пересмотре дела, суд снял с него почему-то определение «особо опасный рецидивист», и его отправили на строгий режим. Варяг всем внушал мистический ужас. Он никогда не подымал голоса, не кричал, чтобы нагнать страху. Если кто-либо возражал ему или мешал, он просто подходил и спокойно приказывал делать что надо. И уж какие отчаянные сорвиголовы были в лагере, не боялись ни черта, ни дьявола, а когда Варяг разговаривал с ними чуть потверже, у всех была одна и та же реакция: глаза стекленели от страха и нервного напряжения, человек начинал заикаться и униженно оправдываться. Варяг, не мигая, смотрел на свою жертву тусклыми, тоскливыми глазами, глазами смерти, пока не убеждался, что человек превращается в трусливое ничтожество, и потом уходил.

— Вот новую партию крыс поймал, — пояснял Леха Варягу. — Гляди, верхняя-то не выходит. Я ее гвоздем раскаленным шпыняю, а она не вылазит.

Варяг кинул мимолетный взгляд на клетку с крысами и неожиданно обратился ко мне:

— Что, земляк, в дурдом попал?

Я пожал плечами.

— Не сладко тебе тут, среди крыс, придется, — сказал Варяг. — Тут все, как эти крысы. Вот в камере эта лагерная нечисть так же себя ведет. Кто послабее духом, сразу в угол забивается. Его, конечно, заживо едят. Обычный лагерный сброд, вроде все тут оторви-да-брось, а в камеру попадают — и сразу видно, кто есть кто.

Он взял протянутую Лехой кружку с чифиром и отпил два глотка.

— Вот Леха, — добавил он, — тоже крыса. Кого послабее — сожрет, а если кто сильнее — в угол от него забивается. Старая крыса, и крысиные повадки все знает.

— Да, — угодливо сказал Леха, пытаясь перевести разговор на другую тему, — я с крысами знаю, как обращаться. А вот

скажи, Варяг, кто с жилой зоны крыс выгнал?

Варяг махнул рукой, как будто прогонял муху, и тогда Леха обратился ко мне.

Ничего не помогало против крыс. И ядом их морили, и крыс-крысоедов я готовил стаями — ничего не помогало. Исчезнут было, а потом снова появятся. Так знаешь, что я сделал? Я поймал крысу и начал ее трепать в клетке. Раскалил до красна прут и стал ее прижигать. Отжег ей хвост, лапу, глаз. Она брыкалась, металась — мы думали, разломает железные прутья. А потом, когда она совсем сил лишилась и едва живая была, я выбросил ее в снег. Она отошла немного и поползла под барак. А через день под полом поднялся такой шум и писк, что барак заходил ходуном. И все крысы с жилой зоны сбежали. Долго их не появлялось и здесь, в рабочей зоне, а потом снова повыползали. А в жилой зоне их и до сих пор нет.

— Мне крысы помогали время скоротать в тюрьме, — сказал Варяг, брезгливо прищуриваясь. — Я только с ними и развлекался в одиночке. На полке иногда оставались крошки хлеба, так вот была потеха смотреть, как они за ними лезут. Подходят к стенке и делают пирамиду: одна на другую залезает, и так до самой полки. И тут-то я кидал в них сапог — и они все сыпались на пол. И расходились. Не разбегались, суки, а расходились, А все ж живое существо, как ни говори. Все веселее, чем стены. Вот, — снова обратился ко мне Варяг, — я только что с БУРа[5] вышел. Попал там к «крысам» Паша — ты его не застал, педераст тут был такой. Да он еще выйдет в зону, ты его увидишь. Ну, педераст, так что ж, если он никому жить не мешает, зачем его со свету сживать? Затравили совсем. Проглотил ложку, заточенную под нож, домино, гвозди. Лишь бы хоть ненадолго вырваться из БУРа, пусть даже в больницу.

Внезапно в жестянку вошли менты. Зэки зашевелились, делая вид, что чем-то занимаются, но менты не обратили на них внимания. Они пришли за Варягом — он уже это знал, видимо, ибо при их появлении поднялся, закутался в бушлат и с выражением угрожающего и брезгливого равнодушия пошел на выход. Я поспешил в цех.

* * *

По дощатому, скользкому от стоптанного снега тротуару, проложенному возле барака, прохаживались зэки. Было воскресенье. К обычной лагерной скуке прибавлялась тоска и нервное напряжение выходного дня. Зэки ходили, обводя тусклым

неподвижным взглядом годами знакомый кусочек пейзажа — вперед-назад, вперед-назад, как маятники. Я взобрался на небольшое возвышение, откуда были видны верхушки деревьев над лагерным забором и вдали — холмы, покрытые лесом. Снег крупными хлопьями крутился над бесконечной тайгой, бесшумно опускаясь на землю. Ни души вокруг, как будто все живое сбежало отсюда, спасаясь от страшного, заколдованного места. Ко мне подошел зэк по имени Степка и попросил сигаретку. Его недавно перевели с особого на строгий, Степка сидел в лагерях без выхода 27 лет — ему все время добавляли срок за убийства. Ему еще оставалось восемь лет. Он был маленького роста, худощав, но ходил всегда опрятный, подтянутый. Как у всех убийц, взгляд у него был тяжелый, свинцовый, с каким-то мертвенным блеском.

— Что, земляк, сказал он, — вдаль смотришь? Зеленого прокурора ждешь?

Зеленый прокурор — это весна, время, когда некоторые решаются на побег. Они говорят, что их освобождает зеленый прокурор.

— Тебе-то нечего горевать, — сказал он, — три года — это совсем смех. И не срок вовсе, так, посмотреть, как в лагере живут.

— Для каждого свой срок велик, — ответил я известной лагерной истиной.

— Это верно, — согласился Степка. — А я вот, почитай что не был на свободе. Только, когда был в бегах. Самое большее год был в бегах — так все время на колесах, все время погоня без перерыва, а уж как увидел, что крышка, — вот была задача, чтоб арестовали где-нибудь в городе или на вокзале. А то ведь нашего брата, если ловят где вдали от людей, сразу стреляют. И потом пишут: при попытке к бегству.

Да, я слышал, как это бывает. В ивдельских лагерях за бежавшими охотились на вертолетах, расстреливали и труп бросали возле лагерных ворот на денек — в назидание другим. В Краслаге этого не делали, но уж в живых, конечно, редко оставляли.

— А что видел? — продолжал Степка. — Ничего. Я, знаешь, до сих пор телевизора не видел.

— Как так? — удивился я.

— А так, — сказал Степка. — Где его увидишь? В тюрьме? В лагере?

Степка ушел. По дороге в барак я столкнулся с Мишей.

— Ты со Степкой не очень-то разговаривай, — тихо сказал Миша. — Он сейчас в опале.

Миша рассказал, что Степка в первые дни, как пришел, начал

терроризировать весь лагерь, и все шло у него хорошо, как и должно быть у такого матерого бандита, пока он не натолкнулся на Варяга. Варяг обыграл его в карты; Степка попросил отложить на день оплату, так как денег у него по случаю не оказалось. Варяг на глазах у всех стал избивать его. Зэки пришли в ужас: при подобных драках неизбежна резня в лагерном масштабе. Сбегаются банды того и другого, вспоминают старые обиды, и тут уж в стороне никто остаться не может, ибо, врываясь в барак, вырезают всех подряд — на всякий случай, чтобы быть спокойным. Но уж Степка был не тот, что в молодые годы, да к тому же Варяг был ему не по зубам. Степка побежал искать защиту у администрации — поступок, самый постыдный, который может совершить уважающий себя зэк. По его жалобе и забрали снова Варяга там, в жестянке.

— Степка все время уговаривает хозяина отправить его на другую зону, — сказал Миша. — Ведь он знает, что Варяг выйдет через полгода из БУРа. Представляешь, пробыл Варяг в БУРе полгода, пару неделек походил и снова БУР на полгода. Выйдет — причешет Степку. Впрочем, ну их всех к дьяволу, пойдем, я тебе кое-что покажу.

У Миши в секции дым стоял коромыслом: в углу веселилась блатная компания. Зэки пили чифир и курили махорку.

— У меня тут тетрадка есть, — сказал Миша, — я в нее выписывал из книг, что понравится. Погоди, я сейчас найду.

Он стал рыться в тумбочке. В углу кто-то идиотски бодрым голосом веселил компанию своими похождениями на воле.

— Ну, сказал я ей, что я хирург…

— Ха-ха-ха! — раскатилась компания.

— Хирург!.. — в восторге орал какой-то старый зэк, раззевая беззубый рот. — С ножом под мостом операции делаем. Хиру-у-ург, ха-ха-ха!

— Ну законно, — продолжал зэк. — Завел я ее в нашу малину, в сарай. А там жиган сидел со своей биксой. Ну, он сразу дверь на лом закрыл. Девка, конечно, испугалась. Я ей говорю: ложись, стерва. Легла. Я на нее. А она не подмахивает. Я слезаю, беру молоток и трах ей по зубам. Выбил зубы. А жиган орет: порви ей все, суке, чтоб знала. Ну, закрыла она рот платком. Я залез на нее, а она ревет, да подмахивает. Фашист, говорит. Ты — фашист.

— У-у-у, — раскатилась братва от смеха. — Фа-а-а-ашист, ха-ха-ха! А ты ее в это время… ха-ха-ха, фаши-и-и-ст!

— Вот послушай стих, — сказал Миша, который уже давно не обращал внимания на лагерный треп —

В голосах нескошенного луга
Слышу я знакомый сердцу зов.
Ты зовешь меня, моя подруга,
Погрустить у сонных берегов.

— Солнышкин любил Есенина, — сказал Миша. — Я знаю наизусть много стихов, так я ему читал. Ну он сам-то человек образованный. Замучили его совсем. Сначала лагерь, потом в ссылку сослали. Когда подошел конец ссылке, вызвали его в райком и стали спрашивать, не изменил ли он своих взглядов. Сеня говорить отказался. Тогда секретарь парторганизации спросил его, как он смотрит на героическую борьбу Анжелы Дейвис, которая объявила голодовку и пьет только соки. Солнышкин вскипел и сказал, что он ни разу в жизни соков не пил и рад бы до конца дней своих держать голодовку, как Анжела Дейвис. «А вот если бы, — сказал он, — вас с этой Анжелой усадить за лагерный стол да заставить есть лагерную вонючую уху, в которой плавают сваренные черви, а после бы вы с непривычки блевали от отвращения, — вот тогда бы я с вами обсудил те вопросы, которые вас интересуют». Они нашли какого-то забитого зэка на ссылке, и тот показал на суде, будто Солнышкин что-то говорил против советской власти. Так, формальность была одна. Три года по 190–1. Потом, видимо, решили его совсем на свободу не выпускать. Повезли в Томскую тюремную больницу, где врачи должны были дать заключение, что он психически ненормальный. Врачи такое заключение дать отказались. Тогда на них из КГБ надавили, его снова повезли в больницу, и тут уж они такое заключение дали. Его увезли — и больше я о нем не слышал.

Мише оставалось сидеть еще два года. Был он настоящим бедолагой, каких миллионы в России. К уголовному миру никакого отношения не имел. Просто бросился разнимать приятеля, который сцепился в гостинице с кем-то, имеющим хорошие партийные связи. Срок никакой Мише не грозил, но на суде, увидев, что приятеля пытаются нагло обвинить в том, чего он не совершал, Миша возмутился и сказал, что судьи по-сталински хотят крови. За это ему дали пять лет усиленного режима. Будучи в лагере, он раскрутился[6] на ерунде. Начальник лагеря сорвал с него шапку и гаркнул: «Снимать надо шапку, когда начальство мимо проходит!» И в самом деле, согласно правилам перед начальством положено шапку снимать. Но Миша вырвал у хозяина шапку из рук и плюнул ему в лицо. И не избежать бы ему большого срока, но на счастье в лагере поднялся

бунт. Резали тех, кто сотрудничал с администрацией, убили несколько надзирателей, потом стали добивать друг друга. Начальника лагеря, конечно, обвинили в плохой постановке воспитательной работы, а Мише добавили всего год и отправили на строгий режим.

— Вот жизнь, — сказал он. — Война, разруха. Шестнадцати лет увезли меня силой из деревни в ремесленное, в город — с тех пор я мамы не видел. Семь лет во флоте. Шесть — в лагерях. Ха-ха-ха! Только смеяться можно над такой житухой.

— Так что, Миша, ты бы не узнал сейчас мать? — спросил я.

— Нет, — сказал Миша, — но я с ней переписываюсь. Совсем старенькая она. Прислала мне фотографию — ничего я не узнаю в ней. А от меня она и фотографии получить не может — в лагере запрещено фотографироваться. — Он хлопнул себя по колену. — Ничего, как-нибудь узнаем друг друга.

Миша достал какие-то письма.

— Это от моей знакомой, — сказал он. — Она очень образованная. Много пишет о Ленинграде. Ты был когда-нибудь там? Я не был. Она пишет — была в Питере. Меня кум[7] вызывает и говорит: «Почему она тебе пишет, что была в Питере? Ведь город давно называется Ленинград?» А я ему говорю: «Подруга-то у меня старенькая, новые названия не знает, все по старинке живет».

Какой-то зэк протиснулся между коек и уселся напротив. Вида он был необычного: весь заросший, как обезьяна, глаза мутные и налитые кровью, сразу видно — после бессонных ночей в изоляторе. Был он продрогший, зябко кутался в грязный бушлат, несмотря на то, что сидел у самой печки, которую натопили на славу. А в глазах окаменела ненависть.

— О Саня, — вскрикнул Миша, — а я тебя сразу и не узнал. Здорово тебя там приморили?! Да ты сними бушлат-то, у печки так быстрее согреешься. Я тебе сейчас чаек заварю. Осталось на заварку.

Я с трудом узнал в этой образине Саньку, которого посадили за невыход на физзарядку.

— Тяжело сейчас сидеть, — сказал он. — Шнырь[8] в изоляторе совсем обнаглел. Печки не топит: неохота ему дрова рубить да таскать. Так он в печку свечку ставит да дверцу открывает, а когда зэки ему говорят, чтоб топил, он говорит: «Глядите, круглые сутки топлю, вон пламя даже отсвечивает. Что я могу поделать, если печки плохие, не нагреваются?»

Саня отпил немного горячего чифира и весь сразу обмяк от разлившегося по телу тепла и легкого тумана в голове, чувство, знакомое только старым лагерникам, давно пьющим чифир.

— Заруба обнаглел совсем, — продолжал Саня о шныре, — подогрев[9] берет, а в БУР или в изолятор или вообще не передает, или передает крохи. Говорит, менты обнаружили и отобрали. Если бы менты обнаружили, ему бы там не работать. Все себе берет, паскуда.

— Варяг тоже им недоволен, — сказал Миша. — Я слышал, что он так обнаглел, что и Варягу не передает.

— Ну, Варягу, положим, он передает, — сказал Саня, — но тоже крохи. А если кто на него орет, то нахаркает в суп, когда подает, а ведь не все после этого есть могут. Да и кормят-то, сам знаешь, раз в день через день. В таком холоде есть надо, а то совсем концы отдашь.

— Неужели же управы на него нет? — спросил я.

— А что с ним сделаешь? За него на всю катушку администрация срок намотает, это тебе не простой зэк.

— Ну как там Варяг? — спросил Миша.

— Приехал прокурор проверять условия содержания. Ну Варяг ему и говорит: «У нас, дескать, стены покрыты льдом. Или через пару месяцев мы все здесь подохнем, или нас увезут в больничку с туберкулезом». А прокурор говорит: «А что, вы тут курорт ищете?» Варяг ему и говорит: «Сосал бы ты…» Прокурор как заорет: «Сгноить вас здесь надо, мало вам». Ну Варяг говорит; «Ты там за решеткой храбрый. Ты войди сюда в камеру и скажи здесь. Войди, чего бояться, тебя же менты охраняют».

— А в бараки прокурор не заходил, — сказал Миша. — У нас вон тоже в дальних углах лед. Это возле печки-то жарко, а в том конце — холодище. Я, когда в лагерь пришел, спал обычно в конце, а сейчас, после карцера, не могу. Мерзну.

Санька снял бушлат и с наслаждением развалился на кровати.

— Вот ведь народ, ничему не учится, — философски сказал он. — Что думает Заруба? На что надеется? Сколько уже таких, как он, зарезали на свободе? Ведь не уйти ему, не уйти от расплаты. Он уже семь лет шнырем работает, и нет ни одного, побывавшего в БУРе, чтобы не имел на него зла. Там шелупень всякая — не страшно, да и то не знаешь, кто тебе при случае нож всадит. Но с Варягом-то шутки точно плохи. Куриные мозги, да и только.

* * *

В мастерской Святого Отца набилось человек пятнадцать, пришедших погреться со стройки. Был мороз градусов сорок, и

печку, раскаленную докрасна, буквально облепили со всех сторон.

Максимыч, мужчина лет пятидесяти пяти, с глазами, добрыми и невинными, как у младенца, поучал меня:

— Ты с этой лагерной нечистью ни в какие дела не вступай. Обманут, сволочье, да еще ты же виноват будешь. Вот набились тут, а менты придут — всех выгонят. А я тут работаю, так и меня выгонят. Как ни есть, а не на улице.

— Ладно тебе, Максимыч, — сказал один из зэков. — Мы погреемся да выйдем. Невозможно все время на морозе-то.

— Хрен с вами, — сказал Максимыч, — я вас не ограничиваю, грейтесь, сколько угодно. Только лучше бы вас всех в этой печке сжечь — и вам, и остальным хорошо было бы.

— Это верно, — согласилось несколько голосов.

Голубые, по-детски невинные глаза Максимыча могли обмануть только такого неотесанного новичка, как я. Он сидел за убийство. Последний раз он освободился лет двадцать назад, так что и лагерную жизнь успел начисто забыть. Была у него семья, дети — два сына и дочь, — а сам он работал машинистом электровоза. Но оскорбили как-то его жену пьяные соседи, и Максимыч их предупредил, чтобы этого не повторялось. А те, хулиганье, три здоровых мужика, сказали ему: «Заткнись, а то раздавим, как клопа». Они оскорбили жену Максимыча еще раз. Тот встретил одного из них и сказал, что дело может кончиться плохо. Хулиган захохотал: вот сейчас они все придут к нему и посмотрят, как это будет. Максимыч сказал: если хоть волос упадет с его головы, им всем троим не жить на свете. Хулигану было смешно слушать такое от старичка с детскими голубыми глазами. Все трое вошли к нему, когда тот работал у себя в саду. Они разбили ему кастетом голову. Максимыч кинулся в сарай за лопатой, но ее не оказалось. Хулиганы настигли его, но он вырвался, и бросился на веранду, и там схватил длинный кухонный нож. Первому подоспевшему он всадил его в печень, второму — в сердце. У обоих смерть наступила мгновенно. Третий заорал от ужаса и побежал. Максимыч бросился за ним, но догнать, конечно, не мог. Прокурор потребовал для Максимыча расстрел. «Вы посмотрите, — говорил он, — это же профессиональный убийца. Он убивал безошибочно, наверняка». Суд вынес решение: пятнадцать лет лагерей строгого режима.

— Если б я не погнался за третьим, — рассказывал Максимыч, — я бы получил не более восьми. Но тут налицо месть, то есть низменные побуждения, а не самооборона. Впрочем, жребия не избежать: кто раз побывал в лагере, тот все равно вернется.

— Почему же, Максимыч? — спросил я. — Ведь жил же ты двадцать лет на свободе, как нормальный человек. У тебя-то нет ничего общего с остальными.

— Не-е-ет, — протянул Максимыч, — если бы я не сидел раньше, то и сейчас не сел бы. Уже человек попорченный, ничего с ним не сделать. Вопрос только, рано или поздно сядешь. Если бы я не сидел раньше, то и повел бы себя иначе; закричал бы, позвал на помощь, побежал бы в милицию, потом обратился бы в суд, ну, словом, сделал бы все как полагается. Я же поступил по-лагерному: за незаслуженную обиду — смерть. Да и третьему послал из лагеря, через тех, что освобождаются, записочку, что вот сбегу скоро и его прикончу. Так он сразу же свой дом продал и смылся оттуда, его сейчас согнем по всей матушке-России не найти.

Максимыч пошуровал кочергой в печке. Зэки неподвижно и завороженно наблюдали за пламенем, молча раскуривая самокрутки.

— А вот Варяг, — послышался вдруг чей-то голос, — выйдет: быть резне в лагере. Если Степка еще здесь будет.

— Варяг! — отозвался кто-то презрительно. — Когда он выйдет из БУРа, я ему рожу бить буду. Я давно знаю эту падлу ссученную.

В мастерской наступила мелодраматическая тишина. Потом все зашевелились и потихоньку стали уходить. Никому не хотелось быть свидетелем такого разговора. Я остался, не в силах выйти на лютый мороз. Остался и тот, кто это сказал, — зэк, по кличке Татарин, пришедший этапом с особого режима. Высокий, худой, с довольно правильными чертами лица, был он очень подвижной, необузданного нрава, а когда злился, то в его больших черных, чуть-чуть раскосых глазах металось пламя бешенства и беспредельной азиатской жестокости. Знавшие его раньше говорили, что он не терпел в лагерях никакой власти.

— Ты сколько лет сидишь? — спросил я Татарина.

Тот махнул рукой:

— Всю жизнь сижу. Не хочется и говорить, сколько — вся дурость сразу же видна.

— Не надоело?

— Как-то привык. Как будто так и надо. Другой жизни не представляю себе. Только вот мать жалко — извелась вся.

Татарин рассказал, как был на свидании с матерью полгода назад. Мать, не видавшая его около пяти лет, утверждала, что он совсем не изменился. Тогда Татарин показал матери два изуродованных пальца на левой руке, ему отрезало их по первому суставу циркульной пилой. Мать долго целовала обрубки,

плакала и говорила, что жизнь и душа у него исковерканы больше, чем рука, а все равно ждет его семья дома уже с детских лет и дождаться не может.

— Как уж есть, — сказал Татарин и вышел.

— Ну Степке повезло, — изрек Макарыч. — Теперь Татарин будет с ним пластаться. Тут дело серьезное, как бы всем в лагерную мясорубку не попасть. Впрочем, еще два месяца, пока Варяг выйдет из БУРа, а там видно будет.

* * *

Без того беспокойный, короткий лагерный сон был прерван сегодня дракой. Какой-то новенький, с этапа, привязался к Татарину. Тому ужасно не хотелось вставать и бить дурака, и он стал его упрашивать спокойно лечь и назавтра во всем разобраться. Но тот не унимался, и тогда Татарин побежал из барака. Блатной погнался за ним, решив, что Татарин испугался. А там Татарин начал наотмашь бить его доской. Зэки повскакали с коек. Миша забежал ко мне.

— Иди спать, Миша, — сказал я, — все уляжется.

— Еще чего, — проворчал Миша. — Мало ли что случится? Тут повальная резня может начаться каждую секунду. Нет, не уйду, пока все не кончится.

Вначале блатной кричал, потом потерял сознание и сквозь открытую дверь было слышно тяжелое дыхание Татарина и глухие, мокрые шлепки доски о безжизненное тело. Зэки оттащили Татарина, а когда пришли надзиратели, все уже лежали на койках и храпели. Надзиратель осветил лицо Татарина фонарем, но тот лежал в глубоком сне до смерти уставшего человека, рот его был открыт, щеки опали, грудь равномерно и спокойно вздымалась в такт сиплым клокочущим вздохам, а ресницы даже не дрогнули, когда на них упал резкий свет фонаря. Брать было некого, доносчики боялись стучать на Татарина. Но заснуть ночью уже не удалось, и утром, перед выходом на работу, хотелось спать.

А развод, как всегда, затягивался. Заключенные кутались в негреющие бушлаты на пронизывающем весеннем ветру, запихивали ладони в рукава. Только Миша стоял, весь нараспашку, вызывающе улыбаясь в лицо офицеру, производившему развод.

— Капитан, — говорил он, ехидно подмигивая, — к кому обращена эта надпись, к зэкам или к администрации?

Миша указал на агитационный плакат, на котором было

написано: «Пусть земля горит под ногами у тех, кто мешает нам жить!». Имелись в виду, конечно, те, кто не стал на путь исправления. Капитан раскрыл рот и так и застыл, не зная, что ответить, зло глядя на Мишу оловянными глазами.

— Ха-ха-ха, — засмеялся довольный Миша, размахивая рукавами грязной, порванной в лохмотья телогрейки. — Может, ты снимешь меня с работы, капитан, и отпустишь в барак? Ведь работы нет сегодня, так что толку быть в рабочей зоне?

— Давай, давай, — отмахивался от него капитан, — иди на работу. Нечего здесь бездельничать. Здесь тебе не курорт.

— Капитан, — не унимался Миша, — посмотри на меня. Я худ, я бледен, я весь оборван. Разве ты не видишь, что я исправился?

Зэки захохотали, и капитан заорал во всю мочь:

— Вон, вон отсюда! В строй!

— Капитан, — продолжал Миша, не обращая внимания на грозный тон, — ты же видишь, мы люди нового времени. Посмотри, разве я не человек нового времени?

Зэки веселились. Я потянул его за рукав.

— Кончай, Миша, а то в изолятор утянут.

Миша ненадолго смолк, разглядывая плакаты на заборе вокруг БУРа. Плакаты сообщали, сколько страна произвела в этом году пар обуви, сколько сдано мяса, молока и яиц в закрома государства по всем республикам. Наглядная агитация объединялась сверху общим заголовком: «От Москвы до самых до окраин». Мишу вдруг осенило:

— Гляди-ка на БУРе-то что написано: «От Москвы до самых до окраин». Действительно, кого только там не встретишь!

— Прекратить! — завизжал капитан. — Сейчас в изолятор пойдешь! Где нарядчик? Почему не начинают развод? А ну, живо!

Зэки благодарно похлопали Мишу по плечу.

— Зачем ты, Миша, — стал я его корить в малярке.

Тот махнул рукой:

— Все равно меня будут морить до самой смерти. А сделать я им ничего не могу. Так хоть скажу открыто что хочу, пусть слышат. Но придет время на них, придет. Может, и не при нашей жизни.

— Ты бы поспал, Миша, а я за тебя поработаю, — сказал я. — У нас сегодня лес не подвезли, да пилорама сломалась. Поди, не выспался сегодня?

— Ну что ты, я двужильный. Русский мужик — что он не вынесет? Он, холоп, такую империю своим боярам построил, так что ему бессонная ночь?

К концу рабочего дня объявили, что бригада остается на

вторую смену: пилораму починили, надо подкатывать лес. Работа на подкатке не из приятных. Два человека, подкатив баграми стволы весом в несколько центнеров каждый, загружали их вручную на вагонетку, затем толкали вагонетку по рельсам к пилораме и там разгружали. И так — восемь часов подряд, насквозь промокшие от пота, на голодном пайке. Уборная рядом с пилорамой была загажена кровавым калом — то ли сосуды у людей рвались от напряжения, то ли геморрой появлялся от тяжелого труда. Но это было, конечно, не то, что в дальних лагерях, на лесных командировках. Там за невыполнение нормы без разговоров сажали в изолятор на фунт хлеба, трех раз по пятнадцать суток было достаточно, чтобы получить туберкулез. Лучше уж сломать руку или ногу. Есть свои «профессионалы» в этом деле. Без всякой платы, просто из любви к искусству, они по первому же зову деловито зажимают ногу очередного просителя между двух больших бревен, а сверху скатывают на ногу третье, поменьше, — и в момент нога переломана. «Счастливчика» — в больницу, а те, что остались, продолжают пилить лес и нагружать им вагоны, которые длиннющими составами расползаются по России.

Но у нас лесоповал не был основной работой, и начальство не очень-то хватало за глотку с нормами выработки. И еще, на наше счастье, пилорама часто ломалась, а на ее замену денег не было. Вот и сегодня, не прошло и трех часов, как «старушка» остановилась. Мы, отирая пот, побежали в котельную варить чифир. Там уже было полно, в основном тувинцев. Они провожали на свободу одного из своих. Миша вовсю суетился и заваривал чай. Увидев меня, он обрадованно кивнул и закричал, перекрывая гул толпы:

— Садись сюда, выпей с нами чифир за здоровье Монгуша. Он уже совсем исправился, а всего лишь лет тридцать просидел. Он твердо встал на путь исправления. Начальству теперь не стыдно будет сказать, что они его перевоспитали. Он все осознал, видишь, кожа да кости одни остались!

Виновник торжества добродушно улыбался раскосыми глазами. До лагеря я понятия не имел ни о тувинцах, ни об их истории. Немало сидело тех еще, которые были арестованы в 1944 году, когда Тува влилась в СССР как автономная республика. Ее единение с «братскими» народами происходило по схеме, близкой к прибалтийской. Два-три министра решили войти в состав РСФСР, а остальных, когда в Туву вступили советские войска, посадили в тюрьму и уничтожили. Тувинцев начали «цивилизовать»: экспроприировать, эмансипировать, освобождать от собственности и объединять в колхозы. Солдаты врывались в

усадьбы и угоняли скот силой. Бесполезно было доказывать безграмотному, испокон века занимавшемуся пастбищным скотоводством тувинцу, что для счастья людей, для победы коммунизма во всем мире нужно отдать его собственный скот. Мать Монгуша вцепилась в солдата, умоляя не отнимать овец, но тот пнул ее, и женщина упала на землю. Монгуш схватил нож и ранил солдата. Его почему-то оставили в живых, только посадили на 25 лет, потом еще за что-то добавили — как и остальным, посаженным в то время, и вот наконец наступил для него долгожданный день. Завтра на свободу.

— Ну, Монгуш, — веселился Миша, разливая чифир. — Недаром в гимне поется: «Союз нерушимый республик голодных схватила за горло великая Русь». Давай, брат, чифирку.

Кружка пошла по рукам.

— Ты нас не забывай, — напутствовал Монгуша один из зэков.

Тувинец печально посмотрел на него:

— Я вас не забуду. Никогда не забуду. Вот если вернусь снова в лагерь, тогда вы можете сказать, что я вас забыл. А если не попаду, то, значит, не забыл.

Тут в котельную зашли два надзирателя с большим мешком. Мешок, как живой, ходил ходуном — котов вылавливали сегодня по всей зоне. Один из надзирателей открыл люк котла, а другой зашвырнул в топку мешок, оглушительно завизжавший кошачьим хором. Раз в год надзиратели обязательно производили эту профилактику, но потом заключенные снова невесть откуда доставали котят, которые быстро размножались до следующего истребления.

Надзиратели вышли.

— Кто не с нами, тот против нас, — откомментировал Миша. — А коты не с нами. Значит, они против. Мы котов с собой в коммунизм не возьмем. И Монгуша тоже. И пошагаем одни, к ебаной матери, в светлое будущее. А сейчас пора на вахту, рабочий день кончился.

Зэки по одному потянулись на выход.

— Тувинцы — отличный народ, — объяснял мне Миша. — Я с ними давно сижу и знаю их хорошо. И они ко мне хорошо относятся. Они много лучше русских. Вообще, те народы, у которых сохранилось что-нибудь от религии или обычаев, лучше русских. Потому что у них хоть что-то есть, что сдерживает их. А у наших, у русских, и веру отняли, и обычаи, а вместо этого дали лагеря. Потому такая погань и пошла.

Был час ночи, и огромные северные звезды рассыпались по всему небу. К нам подошел Леха-крысолов.

— Какие есть звезды? — спросил он.

— Там, — сказал я, — красноватая звезда, видишь? Это — Марс. А вон звезды образуют ковш. Так вот, проведи линию по двум последним на ковше звездам, и первая яркая на ее пути — Полярная звезда. Там север. А вот самая яркая звезда на небе. Видишь, как груша размером? Это — Венера.

Я замолчал, ибо исчерпал свои астрономические познания. Леха с уважением на меня посмотрел.

— Образованный ты, — заключил он. — Я вот ничего не знаю. Ничего в жизни не видел, кроме лагерей. Не видел даже, как яблоки на дереве растут.

— Ты что? — не поверил я. — Не может быть!

— Точно, — не отрываясь от звезд, ответил Леха. — На картинке, конечно, видел, а так, на самом деле, — нет.

— Как же это может быть?

— А так. С детства сижу. Выходил, однако ненадолго. Помню, дали мне десять лет, а в это время следователь докопался, что я стрелял в него из-за забора. Тогда он не завел на меня дела — судили бы меня за все сразу, и получил бы я все те же десять лет, по самой тяжкой. Он подождал моего выхода и тогда подал в прокуратуру. Пришел я домой из лагеря и не успел повесить плащ на гвоздь, как приходят менты арестовать меня. Не успел даже мать обнять. Дали еще семь лет, вот, досиживаю. Какие тут яблоки? Я и ел-то их всего несколько раз в жизни, когда мать на свидание приезжала.

* * *

Наступило лето, а с ним и день, когда Варяга выпустили из БУРа. Степка ходил как потерянный — ждал смерти. В барак набилось много народу отдать Варягу дань уважения. Достали водку, а герою торжества, непьющему, — морфий, хотя сейчас с ним в лагерях неимоверно трудно. В разгар веселья в секцию зашел Татарин. Был он один, но по тому, как он держал правую руку, можно было догадаться, что в рукав заправлен нож. Варяг поморщился — не хотел склоки. Приближался день его освобождения, а тут, в случае резни, — снова суд, и не видать свободы опять после стольких лет заключения. Варягова банда притихла.

— Ну что скажешь? — спросил Татарин. — Взял деньги и в БУР смылся?

— Ты же знаешь, — отвечал Варяг, — меня из-за Степки в БУР посадили. Сейчас я тебе деньги отдам. Садись, выпей с нами.

Компания наперебой стала предлагать Татарину водку — все понимали: тронь его — внутрь ворвутся те, что оцепили барак снаружи, и тогда еще вопрос, кто останется в живых. Без команды Варяга на это никто отважиться не мог.

— А что, нельзя было передать через кого-нибудь? — не унимался Татарин.

— Вот что, — спокойно сказал Варяг, — спрячь свой нож куда поудобнее и давай выпей. Или, если хочешь, уколись — есть у меня еще немного. Или тебе этого мало? Не видишь, что я только что с БУРа?

Довод подействовал: считается неблагородным принять плохо того, кто вышел из БУРа. Татарин взял протянутый стакан. Перемирие состоялось. Но было ясно: рано или поздно что-то должно произойти. В лагерях вражда никогда не исчезает, а развязка может быть лишь отсрочена, не отменена.

Татарин ушел. Варяг подозвал Степку.

— Ладно, живи, — сказал он. — Я к тебе ничего не имею. Только не попадайся мне на пути. Твое счастье, что мне скоро выходить на свободу, а других посылать на такую мразь неохота. Но сиди тихо, как мышь, не высовывайся.

Степка был счастлив.

* * *

Вскоре из БУРа вышел ближайший дружок Варяга, и в первой же беседе между ними выяснилось, что шнырь Заруба забирал себе почти все, что Варяг ему давал для передачи.

— Заруба поплатится за это, — пробормотал Варяг, тяжело пережевывая мерзостную матерщину. — То, что он мне не передавал, сошло ему с рук. Но то, что он не передавал от меня, ему не пройдет.

Вечером Варяг вышел к воротам БУРа встречать Зарубу. Тот показался, когда уже совсем стемнело. В руках у него был полный ворох какого-то тряпья, а сверху лежало несколько пачек махорки и банка кильки в томатном соусе. Шнырь попытался изобразить на лице радость, хоть звериным чутьем чуял расправу.

— Не надо ли чего передать? — спросил он поравнявшись.

Варяг молча взял в руки банку, подбросил ее в воздух, поймал и наотмашь ударил ею Зарубу по лицу. Тот выронил из рук хлам и упал на колени, закрывшись ладонями и выплевывая зубы. Варяг постоял немного, пнул его несколько раз в живот, а когда тот задергался в конвульсиях от удара в печень, бросил банку и ушел.

Заруба побоялся пожаловаться начальству: если бы Варяга забрали в БУР, его дружок, находившийся в зоне, что-нибудь бы придумал. Шнырь встревожился не на шутку. Заканчивался его срок, десять лет, из них семь он издевался в БУРе над зэками. Такое не прощается, это было ему известно, но, как большинство зэков, он не задумывался о завтрашнем дне. А сейчас, когда свобода была близка, Зарубе хотелось жить. День за днем он ходил за Варягом по пятам, вымаливая прощение, приносил ему чай, водку и наркотики, но Варяг ничего не обещал, лишь улыбался и дружески хлопал его по плечу.

И Заруба наконец дождался своего дня. Перед выходом он пришел попрощаться с Варягом, долго тряс ему руку, заискивающе смотрел в глаза, пытаясь угадать судьбу. Рассказывали, что он, выйдя за ворота, умолял надзирателей проводить его до станции, в пяти километрах от лагеря. Те отмахнулись от него, заверив, что дорога безопасна. Где-то на полпути вышли из леса несколько человек. Заруба сразу же отдал все, что у него было, — деньги, что заработал или выманил у этапников, кое-какие вещи, — умолял не убивать. Его долго месили ногами, а когда решили, что он уже мертв, скрылись в тайге. Но Заруба каким-то чудом ожил и почти ползком стал пробираться к станции. Не дойдя километра до цели, он наткнулся на вторую засаду. Увидев, что Заруба пуст, мстители разозлились и искололи его ножами, а потом выбросили искромсанный труп на дорогу.

Новый шнырь, хоть и стукач, был порядочнее. С ним и обошлись мягче. Встретили его не возле лагеря, а в аэропорту, предложили рюмку коньяка, подсыпав снотворное, и, когда уснул, обворовали. Но не тронули, так как в БУРе он много помогал.

Непрочное примирение Татарина и Варяга тревожило лагерь, и развязки ждали все. Были такие, что готовились к резне, чтобы свести какие-то старые счеты, другие, большинство, прикидывали, как бы не быть втянутыми в склоку. Известно, что во время общелагерной резни разбивают все лампы в бараках, идет повальное убийство и выжить мало кому удается.

И день настал. В воскресенье я столкнулся в дверях барака с Максимычем. Меня поразило странное, загадочное выражение его лица.

— Случилось что, Максимыч?

— Татарин с Варягом подрались.

— Как подрались?

Максимыч пожал плечами.

— Не важно как. Теперь начнется. Я как раз пришел с зоны. Из полутора тысяч человек лишь триста в живых осталось. На

картишках столкнулись. Этого следовало ожидать. — Он ободряюще улыбнулся. — Ничего, как-нибудь. Все веселее время пройдет.

Я зашел за барак, где обычно за агитационными плакатами по вечерам сидели на лавках зэки, играя в домино или в карты. Там при слабом свете уличного фонаря копошилась многоголовая гидра. У каждого в рукаве засаленного бушлата был наготове нож или штырь. Немного поодаль, под фонарем, стоял Татарин. Он подобрался, как для прыжка, засунув руку за полу бушлата, и что-то говорил парню, видно, посланнику Варяга. У парня глаза от нервного напряжения вылезли из орбит, он смотрел на Татарина, как на звероящера, но от своего не отступал и тоже что-то доказывал.

— Да вспори ты ему брюхо, — послышался ленивый голос из-за плаката.

— Нет, я с той падлой хочу поговорить, — отозвался Татарин. — А этот все равно свое найдет.

С другой стороны плаца сгрудились приверженцы Варяга, их едва можно было различить при слабом свете лагерных фонарей и сибирских звезд.

— Менты идут!

Все бросились по баракам. Татарин залез под одеяло прямо в сапогах и зэковской робе и притворился спящим. Остальные принялись расправлять постели — был уже час отбоя. Два надзирателя зашли внутрь, подозрительно оглядели всех и ушли, приказав немедленно ложиться. Немного погодя Татарин вскочил и выбежал наружу, потом снова забежал обратно и залез под одеяло. Никто, конечно, не спал.

— Как там дела? — послышался голос.

— Менты расставили посты по всему лагерю, — сказал Татарин. — Сегодня ничего не получится. Завтра, наверное, будем говорить в рабочей зоне. Только ножи придется запрятать, завтра шмонать будут как надо.

Глубокой ночью пришли надзиратели и увели Татарина в изолятор. Варяга забрали наутро. Кто-то своевременно предупредил администрацию. Без главарей банды сразу же распались и притихли. Татарина снова отправили на особый режим, а Варяга вернули на несколько дней в зону: он ожидал отправки в другой лагерь.

* * *

Едва ушла первая смена, я стал одеваться, незаметно засовывая за пазуху конверты с письмами, которые мне необходимо было отправить собственным тайным каналом. Не спеша надел я толстые шерстяные носки — мое бесценное лагерное сокровище, которому завидовали все, потом взялся за тапки. Вдруг что-то вонзилось мне в ступню. Я быстро поднял ногу и осмотрел тапок — в нем была крошечная вмятина. Кто-то приладил ржавый обломок иглы так, чтобы, когда я встану, он полностью вошел в ногу. Я выдернул его, завернул на всякий случай в бумагу и вышел наружу. У барака Варяг сидел на лавке в своей обычной позе, согнувшись, закутавшись в бушлат, презрительно и уныло уставившись вдаль. Рядом стояла кружка чифира.

— Значит, отправляют, — сказал я, присаживаясь рядом.

Варяг кивнул.

— Они, суки, знают, куда меня отправить. На той зоне мой давнишний враг. Я его раз подрезал, да не до конца.

На лице бандюги появилось какое-то подобие человеческого чувства — печаль, что ли, а может, все та же тоска тюремная: надоело все до чертиков и тошнит от всего. А жизнь все заставляет — дерись, ибо нет выхода для таких: или их боятся и подчиняются им, или, почувствовав слабину, расправляются с ними за старое. Ох, как надоел ему, видимо, этот путь, а уже никуда не свернешь! Лагеря, драки, убийства — до тех пор, пока кто-нибудь, более молодой и сильный духом, не одолеет или камера смертников даст бедняге свой последний приют.

— Случилось что-нибудь? — спросил Варяг, остро, как бритвой, полоснув прищуренными глазами.

Я достал ржавый обломок иглы.

— Чуть в пятку не вошел. Хорошо, что я не встал на пол, а руками стал надевать тапки. Иначе бы весь зашел.

— Знакомые делишки, — сказал Варяг. — Быть может, на игле был трупный яд. Я эти лагерные подлянки давно изучил, Но если игла до крови не дошла — ничего не будет, даже если трупный яд насадили. С кем сцепился?

Варяг, не дожидаясь моего ответа, кивнул. Разве упомнишь, кто на тебя может зло иметь?

— В одиночке, — снова заговорил Варяг, — я много читал. Мне начальник тюрьмы разрешил брать книг, сколько захочу. Та к вот, прочитал я рассказ, не то Куприна, не то Короленко — не

помню сейчас, кого именно. Как двое бежали из острога. И в это же время две бабы молодые из женского острога бежали. Дело было еще в прошлом веке. Так вот, мужики шли впереди, а бабы — сзади, метрах в трехстах от них. Мужики, значит, воровали в селах и часть оставляли на стоянке, а когда они уходили, подходили бабы и брали, что им оставляли. И так вчетвером прошли тысячи километров по Сибири. И только когда на какой-то реке вышли к работягам в открытую, бабы подошли к ним. Читал я это и думал. Или же наврано в книжке, или, если правда, здорово изменился народ. Сейчас бы в побегушке было не так. Баб бы догнали, изнасиловали бы, а потом съели. Сейчас бегут меньше, чем лет двадцать назад. Тогда специально пацанов откармливали для побега. Называли их «сухой паек». В дороге ели — как иначе в тайге с одним ножом еду найдешь? Меня, помню, двое прихватили, не знали они, с кем дело имеют. Было у нас поначалу немного еды. А когда кончилась она, я уж был готов ко всему. Развели мы на ночь костер, я пошел воду набрать. Подкрался тихо, слышу, договариваются меня прикончить, Я сзади убил одного с первого удара. Второй бросился в лес, но я его догнал и за ключицу ему весь нож засунул. Долго потом до жилья добирался.

Варяг уныло опустил голову и задумался. Потом снова угрюмо заговорил:

— Что говорить о тех, что в побегушке? Это менты выращивают людоедов. Недавно я был в крытке[10]. Там менты специально смешивают масти. Кинули меня к сукам. Их пять человек в камере. Годами живут на фунте хлеба, им хлеб ночью снится. Сразу же предложили на кровь играть — я эти игрушки знаю. Нацеживают стакан крови, варят, а потом жуют. На ихних картах я, конечно, играть не стал. Вскочил я на койку, что у окна, и стал майку снимать. Они сразу бросились к двери, а там уже менты стояли наготове. Пока я разбил стекла, пока обернул их майкой, чтобы руки не порезать, они уже выбежали в коридор. Меня к другим перевели. Что от них ждать в побегушке?

— Но ведь было же время, — возразил я, — когда содержали в лагерях хорошо. Зэки говорят, что после амнистии пятьдесят третьего года в лагерях все было. И еще больше пакостей было. И лагеря росли.

— Что так, что эдак, — согласился Варяг. — Говорю тебе, крысы. Тут уж ничего не поделаешь. Ничего не поделаешь.

* * *

Особая тема — гомосексуалисты в лагере. Много педерастов приходит на строгий режим со свободы, с общих режимов, молодых совращают старые лагерники — на это есть тысячи изощреннейших и премерзких способов, но основной путь — это когда насилуют за нарушение лагерной этики. Так наказывают, если не отдают проигранное в карты или за воровство. Кража на строгом и особом режиме — явление крайне редкое. И уж если случается, что пропадет какая-нибудь безделица — что еще может пропасть у зэка? — то вора находят с непостижимой быстротой. Первый раз его жестоко избивают, а если он попадается второй раз, то насилуют, и тогда он становится лагерной шлюхой. Жизнь педераста в лагере поистине ужасна. Ему не разрешают есть из общей посуды, считается тягчайшим позором пить из одной кружки с ним. Его часто бьют, зачастую выгоняют спать из общей секции в грязный умывальник, оскорбляют — словом, более унизительного и мерзкого существования невозможно придумать.

Из-за молодых педерастов между лагерниками вспыхивает иногда вражда, старые же педерасты слоняются по лагерю, опустившиеся, непристойные и вонючие, предлагая себя за чай или сигареты. Те же, которые попали в касту «неприкасаемых» за провинность, с большим трудом привыкают к новому статусу, однако ничего поделать не могут.

Одного из таких «новообращенных» я и увидел в жестянке. Это был тот самый Паша, который не выдержал издевательств в БУРе и проглотил целую кучу разных железяк, чтобы хоть ненадолго вырваться в больничку. Он, правда, сделал это после того, как ему не удалось на прогулке зарезать своего главного мучителя. Но и тот тоже испугался: известно было, что Паша зарезать может. Паша был высокий, худой, страшно сутулый, почти горбатый. Было ему лет двадцать пять, а сколько он просидел — трудно сказать, ибо Паша, как и большинство обитателей лагеря, на свободе и не жил. Детство его, как и многих круглых сирот, прошло в приюте. Потом он попал в детдом для трудновоспитуемых — это обычный путь тех, кто растет в приютских домах. В таком детдоме детей на свободу не выпускают, порядок там почти тюремный, а безобразия такие, что и в лагерях не снились. После детдома Паша попал в колонию для малолетних, совершил там преступление, попал на общий режим, дотом на строгий. Три раза был в бегах на малолетке — это весь его опыт жизни на свободе. В побеге Паша шел все по лесам да по болотам, только воровать ходил в населенные пункты, так что совсем не имел никакого представления о том, как живут люди на свободе. При поимке Пашу не расстреляли, потому что он был несовершеннолетний. Паша был вор —

смелый, злой и жестокий, но постоянная голодуха с детских лет надоела ему, и он начал воровать в лагере. Вначале он обокрал киоск — к чему все отнеслись снисходительно, ибо это имущество государственное, а не лагерников, потом он полез по тумбочкам. Несколько раз его ловили и жестоко избивали, но не насиловали, жалели, ибо парень он, по лагерным понятиям, был неплохой. Но в конце концов он доигрался. И после стал приниженным, заискивающе вежливым и еще более злым. Паша пил чифир из своей кружки, опустив глаза в землю.

— Как жизнь, Паша? — спросил я его.

Он пожал плечами, не поднимая головы.

— Скоро ли на свободу, Паша?

— Скоро, — сказал Паша. — Еще четыре года.

— Ну и что будешь делать?

— Воровать буду, — сказал Паша.

— Не надоело тебе сидеть?

— Куда денешься? Судьба. Что поделаешь, если мы такой несчастный народ.

— Что-то согнула тебя жизнь, — сказал я, подразумевая его сутулую спину.

— Вы не смотрите, что у нас грудь впалая, — ответил Паша, — зато спина выпуклая.

— А что бы ты сделал, Паша, если бы мы с тобой когда-нибудь встретились на свободе и ты бы узнал, что у меня есть 5000 рублей?

— Убил бы, — не задумываясь, сказал Паша.

— Из-за денег?

— Ну, а из-за чего еще? — удивился Паша. — Конечно, из-за денег.

— Но ведь жизнь человеческая…

— Ну и что? Зачем вы мне нужны? Зачем мне нужна жизнь человеческая? Что мне от нее проку? А на деньги я смогу пожить.

— А если найдут — расстреляют, — сказал я.

Паша махнул рукой:

— И мне, и людям легче. Позади лагеря, впереди лагеря, чем так жить, лучше уж пусть расстреляют.

— Брось, Паша, — сказал я. — Самая плохая жизнь на свободе лучше лагерной. Нечего и сравнивать. Здесь же ад кромешный.

Паша пожал плечами.

— Я привык. Я другой жизни не знаю, по мне — так и должно быть.

Паша радовался, что я не брезгую с ним разговаривать. Он стал расспрашивать, была ли у меня когда-нибудь женщина, —

ведь у него, как у многих в лагере, женщины никогда не было. Потом он спросил, откуда я. В шутку я ответил:

— Из Лондона.

— Из Лондона? — спросил Паша. — Это где? От Красноярска далеко?

Я подумал, что он шутит, но Паша говорил совершенно серьезно.

— Ты действительно не знаешь, где Лондон? — спросил я с таким удивлением, что Паша даже сам засомневался, знает он или нет.

— Да, вроде… — промямлил он. — Вроде слышал где-то. Я географию плохо знаю, у меня память плохая.

В жестянку вошли два зэка. По профессии они были стопарилы, то есть грабители. Один из них, Генаша, был широкоплечий блондин, голубоглазый, с правильными чертами лица. Он всегда улыбался, немного смущенно и иронически, и щурил глаза, как будто бы от стыда. Было ему двадцать четыре года, он имел уже третью судимость за грабеж.

Второй был по кличке Амбал — здоровенный детина, пожалуй, самый сильный в лагере. Амбал пнул Пашу и, когда тот забился в угол, сел на его место:

— Не вздумай с этим пидором из одной кружки пить. Ты человек новый, порядков можешь не знать. А пидоры здесь наглые. Недаром говорят: наглый, как педераст.

— Я бы и не дал свою кружку, — сказал Паша.

— Молчи, сука, тебя не спрашивают! — рявкнул Амбал.

— Вот сейчас чифирок заварим, — Генаша отщипнул кусок от плиты чая. И, обратясь ко мне: — Думал ли ты, что существует житуха такая?

— И не снилось, — искренне сказал я.

— Вот Амбал пидорастов жарит, — сказал Гена. — А я в основном дрочу. И уж так привык в лагере, что на свободе, в этот раз, когда вышел, так и не смог с бабой. Неинтересно. Мозги совсем свихнулись. Вот поглядеть бы да подрочить, а так, с бабой, неинтересно. — Гена помешал в кружке с чифиром. — Ничего, скоро на свободу. Еще полтора года осталось.

— А что будешь делать? — спросил я.

— Наверное, поменяю профессию. Воровать начну.

— Не стоит, — возразил Амбал. — Лучше стопарить. Подошел, отнял, пропил — любого останавливай, нечего голову ломать.

— Ну уж любого!.. — не согласился я. — А если человек будет сопротивляться?

— Чего? — удивились в один голос стопарилы. — Как это

сопротивляться? Ведь если человек идет грабить, так он знает, что делает. Это же его работа. Мало ли что он припас в кармане? Да вот хоть и я, попал бы к стопарилам, — тоже отдал бы, что просят. Куда денешься? Ведь душу вынут.

— Ну, бывают же смелые люди, — настаивал я.

— Ерунда, — сказал Амбал. — Я вот, помню, настолько обнаглел, что один раз, среди бела дня, двоих остановил. Два мужика здоровенных, а отдали все. Даже кольца. А потом я у одного заметил в кармане бутылку водки. Так я за нее потянул — в это время он мне как даст в челюсть! Да так удачно приварил, что я с копыт долой слетел. Ну, они и бежать со всех ног. — Амбал засмеялся. — Вот ведь народ русский. Когда дело до водки доходит, — ничего святее нет. Родную мать продаст, собственной жизни не пожалеет. А кроме этого, никаких случаев не было, чтобы сопротивлялись.

— А я бы не отдал, — продолжал я храбриться. — Трудно, что ли, двинуть?

— Куда бы ты делся? — сказал Генаша со всегдашней смущенной улыбкой. — Еще торопился бы снимать с себя пиджачок.

— А как ты грабил?

— Как? Выходим обычно, когда темно. Был у меня подручный. Ну, я просил отдать.

— Как просил? Грозил чем-нибудь? — спросил я.

— Ну-у, — махнул Гена рукой, как будто его пытались обвинить в чем-то постыдном. — Обыкновенно, подходил и говорил, как вот сейчас с тобой.

— Покажи, Гена, — попросил я, — не представляю, как грабят.

Что меня поражало в лагерниках, — так это изумительный актерский талант и умение производить желаемое впечатление. И вроде, на первый взгляд, обезьяна обезьяной, и с мозгами и внешностью обезьяньей. А уж если подойдет что-нибудь просить, — так улыбнется ослепительно, как великий актер перед кинокамерой, а уж если грозить начнет — так поджилки трясутся. Но Гена-то был и среди лагерников человек незаурядный, а какой зэк не хочет произвести впечатление?

Гена сполз с верстака и подошел ко мне все с той же смущенной улыбкой и стыдливо полуприкрытыми глазами. Но появилось в его лице что-то пакостное и жестокое. Гена потрепал двумя пальцами мою телогрейку и сказал:

— О, пиджачок-то у тебя неплохой. Смотри, как ты хорошо одеваешься. А я одет совсем плохо. Дай-ка мне его примерить, может, он подойдет мне.

Мне почему-то стало не по себе, но, чтобы скрыть свои чувства, я улыбнулся. А у Гены лицо вдруг окаменело, кожа натянулась на худых скулах, глаза застыли и смотрели на меня одними мертвыми белками.

— Ты посмотри-ка, — сказал Гена удивленно, — к тебе обращаются, как к человеку, а ты не понимаешь.

Гена посмотрел на меня сбоку, как будто пытаясь понять, почему это я не понимаю. Они с Амбалом придвинулись ко мне ближе. Тошнотворное чувство страха сжало мне желудок и подтянуло его к самому горлу, несмотря на то, что я прекрасно понимал, что это игра, не больше. Я улыбнулся изо всех сил, но разве скроешь что-нибудь от матерых рецидивистов? Гена снова сел на верстак и продолжал:

— Ну, а потом, как обычно. Бьешь его, забираешь все и идешь искать следующего.

— Зачем же бить, — спросил я. — Если человек отдает, то и бить не надо.

— Как это не надо? — спросил Гена, как будто я говорил что-то совсем непутевое. — А для порядка? Выбить ему зубы, сломать ему ребра. Это же такой народ. А упадет он, так напарник еще подпрыгнет, да с прыжка даст пяткой в глаз, да еще покрутится на глазу, чтобы потом похвастать — вот, дескать, я на глазу его пяткой крутанул, знайте, мол, какой я.

— Ну что в этом толку, Гена? — спросил я.

— Народ такой, — ответил Гена, подняв руку ладошкой вверх по направлению ко мне, как бы говоря: смотрите на него, этот дурак совсем ничего не понимает.

Жестянка постепенно наполнялась зэками. Один вернулся со свидания с женой — на строгом режиме раз в год разрешается свидание с родственниками в течение трех суток при условии, что нет нарушений. Посыпались обычные в таких случаях мерзопакостные шутки.

— А ко мне никто не приезжает на свидание, — сказал Генаша. — У меня только мать есть, из родственников-то, так и та боится — знает, что я ей там все разорву.

— Ну, Генаша, ты уже слишком, — сказал я. — Родную мать?

— А чего с ней церемониться? — сказал Генаша. — Здесь многим из-за этого не дают свидания с матерями. А уж с моей матерью сам Бог велел. Проститутка. Родила, падла, троих детей. Приводила домой мужиков, пила с ними, при свете жарились, а мы сидели напротив на койке и смотрели. В комнате всего две койки было. Кто же мог из нас вырасти? И ты еще хочешь, чтобы я с этой шлюхой церемонился?

— Всунуть ей, суке, — сказал Амбал. — Ха, а вот и Ворона.

К жестянке подошел старый педераст Ворона и остановился в дверях, не решаясь пройти внутрь. Этот был известен на весь Красноярский край. Был он безобразен, как старая гиена, вконец опустившийся. День для него, вне всякого сомнения, был неудачный. Его мучил кумар — депрессивное состояние у тех, кто привык к чифиру. Он уселся возле входа и подпер голову грязными ладонями.

— Что, Ворона, — спросил Амбал, — чифиру хочешь?

Ворона кивнул.

— Тяжело с чифиром сейчас. Видишь, весь лагерь сидит на подсосе. Нет ни чая, ни махорки. Вот нас тут восемь человек. Если ты всем нам дашь, дадим тебе чая на заварку.

— И еще п-п-пачку махорки, — сказал Ворона, заикаясь. — Мне курить ох-х-хота.

— Мало ли что, — протянул Генаша.

Разговор шел для потехи, но Ворона отнесся к торгу серьезно — его мучил кумар.

— Мало ли что охота. Видишь, самим не хватает. Да и не стоишь ты этого. Если хочешь, дадим тебе полпачки махорки, но тогда чая не дадим.

Но Вороне хотелось выпить чифир и после закурить, и он не соглашался. Торг тянулся к общему веселью и удовольствию. Наконец Ворона понял, что не получит ни того, ни другого. На минуту горестно задумался и вдруг изрек, вложив в одну фразу все, что он знал о человеческих отношениях:

— Еб-б-б-бать все х-х-хотят, а п-п-платить н-никто н-не хочет.

Громкий хохот был наградой мыслителю, и зэки, сжалившись, кинули ему щепотку чая и немного махорки. В жестянку, согнувшись, вошел Леха, держа за хвост пойманную крысу.

— Чего, опять про девок разговор? — улыбаясь, сказал он, кивнув в сторону Вороны.

— А я не могу их жарить, — сказал один из зэков, — Лучше бабы ничего не может быть на свете.

— Скажешь тоже, — сказал Леха, запихивая крысу в клетку. — Я вот всех перепробовал, начиная от домашней птицы и кончая лошадьми, А вот бабу так и не попробовал. И не представляю, что это такое. Да много ли тут таких, что баба у них была?

— Кобыла — это хорошо, — сказал Амбал. — Раньше в лагере были кобылы, так хорошо было. А сейчас хозяин запретил на них возить, все мерины, некого и трахнуть. Хоть бы на дальние командировки угнали, там с кобылами попроще.

Я поднялся и направился к выходу.

— Что, тошнит от лагерного базара? — крикнул мне вдогонку

со смехом Генаша, — Тут ты другого не услышишь. Привыкай, земляк.

Я направился в мастерскую к Святому Отцу в надежде скоротать время — работы как раз было мало: лес не подвезли. Дороги занесло снегом.

Святой Отец был невысокого роста, белобрысый и мастер на все руки. Он утверждал, что есть Бог и на земле все от Бога. Не верил он, конечно, ни в Бога, ни в черта, а болтал просто так, дурака повалять — у всякого в лагере есть какой-нибудь пунктик. Но прозвали его Святой Отец, и он очень гордился своей кличкой.

В мастерской Святой Отец вставлял двум зэкам металлические зубы. Раньше он их делал из меди, но зубы эти окислялись, и многих увезли в больницу с острым отравлением. Потом Святой Отец достал где-то ванночки, в которых в лагерной больничке кипятили шприцы, и стал делать зубы из них — и дело у него пошло бойко. Расплачивались зэки чаем — это лагерная валюта, которую можно обменять на что угодно.

Рядом со Святым Отцом трудился его напарник Щука, высоченный детина, с двумя рядами стальных зубов, которые он показывал в ослепительной, как у актера, улыбке. У Щуки была своя, не менее доходная, специальность. Он вытачивал из зубных щеток шарики и вживлял их в половой член своим заказчикам, которых у него было превеликое множество. У лагерников бытует мнение, что женщине доставляет удовольствие толстый половой член. Так вот, чтобы утолщить его, и делается эта операция — надрезается кожа и вживляются внутрь пластмассовые шары, которые называют «спутниками». Перед выходом на свободу большинство проделывает себе эту операцию, воображая, что в таком виде они будут представлять собой большой подарок женщине. Под ножом у Щуки корчился очередной кандидат в первые любовники, а в углу сидел Санька-врач и надрывался от смеха.

— Был у меня приятель, — сказал он, — который нарастил себе целую пригоршню «спутников». Поймал он после лагеря какую-то проститутку — ну та, ни о чем не подозревая, легла с ним в постель. А дело было у меня на квартире. Шлюха как заорет — потом никак не хотела снова с ним лечь. Говорила, что он ей какой-то корягой заехал. Вот дикари, так уж дикари.

— Э-э-э, — стонал зэк от боли.

— Терпи-и-и, — говорил Щука. — Любви без страданий не бывает. Вот и все. Живи на радость женщине.

Щука захохотал. Тем временем Святой Отец размягчил битум и залепил им зубы какому-то старому зэку — так он делал слепки. Второго усадил около входа, где было побольше свету, и,

взяв в руки полуметровый напильник, стал снимать верхушки зубов, на которые он должен был сделать коронки. Раздался скрежет, голова у зэка затряслась, глаза вылезли из орбит и из открытого рта вырвался каркающий стон.

— Давай, нажимай сильнее, Святой Отец, — подбадривал его Санька. — Пили его, такой красавец выйдет!

— Смеешься, — сказал спокойно Святой Отец. — А ведь тут, до самого Красноярска никто тебе, кроме меня, зубов не вставит. Тут только выбивать мастера. Ко мне менты ходят зубы вставлять — поэтому они не наводят у меня так часто шмон, как у других.

Святой Отец отложил напильник и засунул пятерню в рот тому, у которого готовился слепок. Но битум крепко схватился и не снимался с зубов. Святой Отец поднажал, и битум поддался. Каково же было его удивление, когда он в куске битума увидел все зубы, с которых он хотел снять слепок. Зэк провел языком по тому месту, где были зубы, и понял все.

— Падла, — прошамкал он, — ты мне зубы снял. Вместо того чтобы поставить коронки, ты их вообще выдрал.

— А-а-а, — в сердцах сказал Святой Отец и бросил битум с зубами на пол. — Ходите тут, зубы совсем не держатся. Коронки им надо какие-то.

Санька помирал со смеху.

— Ты, змей, — не унимался зэк, — тащишь на себя, как трактор. Так у тигра можно зубы выдрать. Я вот тебе дам сейчас напильником по башке…

— Идем отсюда, — сказал мне Санька, вытирая слезы от смеха. — Сейчас здесь драка будет, незачем быть свидетелями.

* * *

Однажды я зашел в библиотеку поболтать с библиотекарем и заодно, быть может, найти что-нибудь почитать в его хламе. Командовал там Иван Семеныч или просто Семеныч, старик лет 60, получивший два года строгого режима за хулиганство. Семеныч печалился ужасно. Посадили его по причине не очень серьезной. Он застрелил соседскую собаку. Соседи имели связи с партийными бонзами, Семеныч же связей не имел. Строгий режим ему дали потому, что он во времена Сталина отсидел десять лет. Не важно, что Семеныч был реабилитирован, как невинная жертва сталинского произвола, — важно то, что он сидел.

— Ух, чтобы им, — в сердцах говорил Семеныч. — Я был гвардейский офицер, под пули шел, не сгибаясь, во время войны.

Но попали мы в окружение — и надо отступать, бесполезно драться. Я — к командованию по телефону, а они мне: «Ни пяди земли родной, драться до последнего, умрите, как герои». А я ему сказал: «Умирай сам, сука. Говорили, летаем выше всех, дальше всех, быстрее всех. А где они, ваши самолеты? Голыми руками хотите танки брать?» Дал я приказ отступать. Арестовали меня, на Лубянке мордовали. Я следователя треснул по-гвардейски — измолотили меня что надо, а потом — в лагеря. Теперь вот строгий режим за то, что прежде без вины отсидел десять лет. Креста на них нет.

Увидев меня, Семеныч сделал знак рукой: подожди, дескать, отпущу очередь. Стояло всего три-четыре человека с какими-то засаленными книжками, а один из них рассказывал, как он как-то раз смотрел на свободе кино про любовь.

— И вот, — с радостным возбуждением говорил он, взмахом руки подчеркивая лиричность момента, — идет она, бля буду, к нему, бля буду, дождь там — мать твою… А он, бля буду, в халате, бля буду, а она ему, бля буду, на шею… В рот меня…

Зэк хлопнул себя по ляжке и засмеялся. Остальные тоже заулыбались — история была действительно интересная. Наконец Семеныч отпустил читателей, закрыл окно и вышел ко мне.

— Послушай-ка, здесь есть один политический. Уже два месяца в лагере. Не знаешь его?

Я уставился на Семеныча, от волнения не в силах вымолвить слова.

— Да-да, — продолжал Семеныч, заметив мою реакцию. — У меня в карточках все регистрируется. Статья, срок. Ему я ничего не сказал — знаешь сам, лагерь. Ты тоже никому…

— Как фамилия, Семеныч?

Я даже схватил его за грудки.

— Фамилия! В каком бараке?

— Успокойся, — Семеныч зашел к себе обратно в конторку. — Вот он. Решат Джемилев. Статья 190–1. Записан с июля месяца. Третий барак.

«Как же так? — думал я на бегу к третьему бараку. — Два месяца, а я ничего не знаю! Он-то, новичок, уж точно слышал обо мне — почему не пришел познакомиться? Что за человек?»

У третьего барака стоял зэк но кличке Акула — первейший мерзавец, доносчик и предатель. Он улыбнулся мне открытой, приветливой улыбкой, какая бывает лишь в кино у американских ковбоев. Можно было подумать, что честнее, благороднее и дружелюбнее человека на всем свете не сыскать.

— Ты не Решата ли ищешь? — спросил Акула.

Я кивнул.

— Какая неудача, — сказал он. — Решат работает в первой смене. Но я ему говорил о тебе.

— И что он?

— Он? Да он ни с кем знаться не хочет. Всех подозревает, — Акула улыбнулся приветливее. — Уж я ему говорил, сам понимаешь, что ты человек что надо, доверять можно на все сто, а он все не решается.

Мне все стало ясно. Акула за всю жизнь не сказал доброго слова даже о родной матери.

В воскресенье я отправился к третьему бараку. Того, кто мне нужен, я выделил с одного взгляда по осмысленному выражению лица, хоть одет он был в обычное лагерное тряпье.

— Вот и он, — сказал Акула своему соседу. — Можешь познакомиться.

Решат, мужчина лет сорока, невысокого роста, протянул мне руку. Я предложил ему походить, чтобы поговорить наедине.

— Демократ? Националист? — спросил я.

— И то, и другое, — кивнул Решат.

Мы быстро подружились. Решат был одним из лидеров крымско-татарского движения. До встречи с ним я имел смутное представление об истории крымских татар. В школе нас учили, что правительство решило переселить крымских татар в Узбекистан потому, что все они сотрудничали с немцами. Вот всех и выселили. И еще учили, что Россия в прошлом много воевала с крымскими татарами: ей был необходим выход к Черному морю, а чтобы получить его, пришлось разбить крымского хана и захватить всю территорию. Все было просто и понятно. В прошлом они были плохие, потому что жили в месте, неудобном для России. Потом они стали предателями. Сколько же можно их терпеть?

Решат рассказал, что главным идеологом движения был Мустафа Джемилев, брат Решата. Он почти не выходил из тюрьмы. Крымские татары устраивали в Ташкенте демонстрации, которые милиция разгоняла гранатами со слезоточивым газом. Участников движения бросали в тюрьмы, там натасканные администрацией уголовники забивали их до смерти. И все это оставалось неизвестным не только на Западе, но и в России. У лидеров не было единого взгляда: предать гласности хронику борьбы крымских татар или вести бесшумный диалог с властями, чтобы не раздражать их. Было потеряно много времени и много людей.

Решат обращался ко многим партийным деятелям, ученым, писателям, привозил в Москву петиции, под которыми стояли подписи десятков тысяч человек. Везде поначалу реакция была

положительная. Видное лицо разводило руками, говорило, что это, конечно, историческая несправедливость, что она будет исправлена, надо только довести до сведения ЦК партии и т. д., и просило зайти через какой-нибудь срок, когда будет вопрос выяснен. Делегаты приходили в назначенный срок, и видное лицо смущенно разводило руками снова и говорило, что это не в его компетенции, что он вообще сейчас не может такими делами заниматься и советует им вернуться к себе домой и оттуда писать правительству; а уж оно разберется. Был Решат в составе крымской делегации у Андропова. Тот спросил, не собираются ли они, в случае успеха их миссии и положительного решения вопроса, отделиться от Советского Союза. Делегаты заверили его, что хотят лишь одного: вернуться на свою землю и жить в составе Советского Союза на условиях, существовавших до их насильственного выселения. Андропов предлагал разные варианты: помощь в развитии национальной культуры на месте их теперешнего пребывания, открытие учебных заведений на крымско-татарском языке и тому подобное. Но делегаты твердо стояли на своем и доказывали ему несостоятельность его аргументов. Андропов шутливо поднял руки вверх, как бы признавая свое поражение, и сказал, что сам ничего решать не может, но что-нибудь будет сделано. И действительно, указом Президиума Верховного Совета с крымских татар было снято обвинение в предательстве — нельзя же в самом деле, согласно даже коммунистической доктрине, обвинить в предательстве целый народ, включая малых детей и солдат, отдавших жизнь на фронтах. Но по-прежнему остался запрет селиться в Крыму и даже посещать его. Тех же, кто пытался проникнуть в Крым, снимали с поездов, с самолетных рейсов на авиавокзалах — причем безошибочно, хотя, порой, для несведущего человека трудно отличить крымского татарина от кавказца.

Активистов продолжали сажать в тюрьмы. Дошла очередь до Решата. Отсидев срок, он вернулся с твердым намерением громко рассказать миру о происходящем. В это время генерала Григоренко за помощь крымско-татарскому движению поместили в психиатрическую лечебницу. Начались аресты, КГБ спешил — приближалось совещание коммунистических и рабочих партий в Москве, так что нужно было обеспечить тишину, спокойствие и единство советского народа. И вдруг…

Пасмурным московским утром, в день открытия совещания, на площади Маяковского появились шесть демонстрантов с развернутыми плакатами: «Руки прочь от Чехословакии!», «Свободу генералу Григоренко!», «Коммунисты, верните крымских татар в Крым!»

Демонстрация длилась не более тридцати секунд — смельчаков скрутили, отобрали плакаты и запихали в подоспевшие воронки.

— Потом бежал из тюрьмы, — рассказывал Решат, — и больше года был в бегах. Измотался весь, пришел домой, там меня и взяли.

Было интересно читать его приговор, составленный в общепринятом дубовом советском стиле:

«…На площади Маяковского нарушители держали в руках клеветнические лозунги: «Руки прочь от Чехословакии», «Свободу генералу Григоренко» и т. д. В том же приговоре было сказано, что на похоронах писателя Костерина Джемилев произнес клеветническую речь: «Страна славится не танками и пушками, а такими гуманистами, как писатель Костерин».

— Боюсь я за брата, — сказал Решат, — заморят они Мустафу. Он у нас на голову выше всех, и в ГБ это знают.

Мустафа написал историю крымско-татарского народа (КГБ за ней охотился, не жалея сил). Он проследил историю борьбы России с Крымским ханством и затем с остатками крымского народа до последних дней. Концом национальной борьбы и началом трагедии автор считал эпизод приезда Екатерины Второй к крымскому хану Гирею, которого она в постели уговорила разрешить ей ввести в Крым русские войска для обороны от посягательств турецкого султана. Разрыв союза с мусульманами и ориентация на Россию решили судьбу Крымского ханства. Русские войска прибывали, притеснения достигли небывалой жестокости, и народ стал разбегаться из родной земли, как из ада. В день иногда эмигрировало до восьмидесяти тысяч человек. Ко времени захвата власти коммунистами от четырех миллионов крымских татар, живших в Крыму при Екатерине, осталось триста тысяч.

18 мая 1944 года весь крымско-татарский народ был выселен в пустыню Узбекистана. Разрешили остаться в Крыму только героям Советского Союза, остальные же, негерои-предатели, должны были жить в строго определенных областях.

— Я был тогда пацаном, — рассказывал Решат. — Брат вернулся раненый с фронта. Он ушел в этот вечер куда-то — то ли в госпиталь, то ли в военкомат. К дому подъехала машина, и солдаты дали приказ собрать в течение нескольких минут личные вещи и грузиться на машины. Мать плакала, умоляла подождать старшего сына, уверяла, что произошло недоразумение и их не имеют права увозить. Плачущую женщину с пятью детьми закинули в грузовик и повезли на станцию. Там татар ждали поезда. Людей запихали в вагоны, и составы тронулись.

Население городов и станций на пути их следования было предварительно оповещено, что везут нацию предателей. Для верности на крышах прикрепили плакаты, клеймившие позором изменников родины. В вагоны летели камни, толпа кричала проклятия и грозила кулаками. Стояла страшная жара, а в вагоны не давали ни еды, ни воды, ни медикаментов. Выходить было запрещено — двери в тамбурах наглухо закрыты, и у входа автоматчики. Наконец через неделю состав прибыл в Узбекистан и остановился на полустанке, посреди пустыни: ни кустика, ни деревца, ни человеческого жилья, а только пески и раскаленное солнце. Сначала из вагонов стали выбрасывать трупы детей, потом остальных, не вынесших тяжести путешествия или скончавшихся от эпидемий.

Наступила для Решата новая жизнь. Дети умирали от эпидемий, и немудрено: пропитание себе они находили, роясь на помойках. На работу не принимали, нищета в семьях была ужасающая.

— А теперь они говорят о возрождении нашей культуры в Узбекистане, — продолжал Решат. — Лишили нас родной земли, языка, религии и обычаев. Вырождается целая мусульманская нация и всем это до лампочки! Европе наплевать — это понятно, они хотят жить хорошо и без лишних забот до того дня, когда их раздавят, а мусульманам наплевать, потому что они получают от Советов оружие, а Организации Объединенных Наций наплевать, потому что у нее есть дела поважнее, ведь она занята установлением справедливого и прочного мира, разработкой гуманных деклараций и прочими вещами. Обращались к коммунистам Европы — тут уж ясно, ворон ворону глаз не выклюет. А сейчас партийные бонзы взяли новую тактику. «Какой Крым? — говорят. — Ведь вы ж татары? Вот и возвращайтесь к себе на родину, в Казань. Там же татары живут!» И говорят они искренне, многие действительно не знают, что слово «татарин» обозначало у русских иноверца, мусульманина, все равно, где он живет — на юге или на востоке. Правильнее было бы называть наш народ «тавры», а не татары, ибо мы носили кличку, данную нам русскими. Но не в этом зло. Я не вижу конца. Быть может, помогут нам мусульмане, или ООН, или кто-нибудь? Как ты считаешь?

Я не знал, что ответить.

* * *

Прошло лето, наступила осень, и деревья за запретной зоной

вспыхнули желтым и розовым пламенем увядшей листвы. А зэки, как десятки лет назад, ходили возле бараков вперед и назад, зябко засовывая руки в рукава телогреек и хмуро глядя вдаль невидящими глазами. Потом наступила зима, деревья за запреткой оголились, на елках пышной бахромой осел снег, а зэки все так же, как маятники, ходили возле бараков, вперед и назад, вперед и обратно. Иногда по пустячной причине вспыхивала драка, резня, напряжение и раздражение снималось и снова, как маятники, — туда-сюда, бесконечно, отупляюще, неизменно…

Я заглянул к строителям: они столпились у печки на первом этаже здания, которое строили для администрации. На душе было тоскливо. Решат лежал в лагерной больничке, у него разыгралась язва, началась кровавая рвота, и его конечно же не лечили. Я боялся, что его увезут в больницу — там с операционного стола редко кто выходил живым, а если и выходил, то калекой. Зэки страшно боялись операции в тюрьме и соглашались на нее лишь в том случае, когда наверняка знали, что иначе все равно — смерть.

— Они, видно, помирают со смеху, когда делают над нами операции, — говорил один, пришедший с лечебной зоны. — Открывают, наверно, и один другому со смехом говорит: гляди, это что у него? Ха-ха-ха, да это ему не надо. Давай отрежем. А это? Ха-ха-ха, да это совсем не надо. И это тоже. А сейчас давай зашьем и посмотрим, будет жить или нет. А? Ха-ха-ха!

Строители перекурили и ушли на работу, а я остался, не в силах двинуться с места. Если бригадир заметит, что не работаю, донесет начальству, и посадят в изолятор. Ну, наплевать!

К печке кто-то подошел и сел рядом.

— Греешься, земляк? — услышал я дружелюбный вопрос.

Я осмотрел соседа. Одет аккуратно, лагерная роба перешита так, что сидит даже с какими-то признаками изящества. Ряды металлических зубов выдавали старого лагерника, а веселая, по-настоящему бандитская рожа говорила: этот из прошляков, из настоящих. Зэк достал пачку сигарет и протянул мне.

— Закуривайте, — сказал он, обращаясь почему-то на вы. — Давайте знакомиться. Меня зовут Борис Петрович. А вас?

Я взял сигарету и назвался.

— Я о вас слышал, — сказал Борис Петрович, показывая зубы в улыбке, от которой мороз пробежал у меня по коже. — Не сладко, должно быть, вам среди лагерной шерсти. Я, знаете ли, пришел сюда недавно из другой зоны. Не везет мне в эту отсидку. Одну падлу зарезал — едва отвертелся от суда, перевели в другую зону. В другой зоне чуть не дошло до резни — на меня свалили, отправили на соседнюю. На этой зоне одна скотина, доносчик,

проигрался мне в карты. А платить нечем. Побежал к куму. Кум меня вызвал. Так я там, у кума в кабинете, этой падле, доносчику, два штыря в пузо всадил. Меня, конечно, в БУР, следствие, месяц держал голодовку — протестовал. Но тот, кому штыри всадил, — тоже был такая падла, что и рады бы были кумовья, если бы он подох. А он не подох. Вот меня сюда и отправили.

Борис Петрович весело засмеялся, хлопнул меня по плечу и сказал:

— Не робейте, все будет хорошо. Я, знаете ли, предлагаю вам работать со мной вместе, в одной бригаде. Сидеть мне немного осталось, так я не хочу начинать картежную игру и лагерную шерсть вокруг себя собирать. А с вами да с вашим другом я спокойно досижу. Как его зовут, друга вашего?

— Решат, — ответил я.

— О! Рашид, — сказал он. — Рашид Бейбутов[11]. Рашид Бейбутович. Я его буду звать просто — Хоттабыч[12]. Он на Хоттабыча похож. Ха-ха-ха!

Бандюга мне положительно нравился. Тут забежал бригадир и гаркнул на меня, чтобы я отправлялся на работу.

— Крокодил, я вас не узнаю, — ласково сказал бригадиру Борис Петрович. — Такие манеры в моем присутствии. И потом, разве вы не знаете, что с моими друзьями нужно говорить так же вежливо, как и со мной?

Бригадир увял и смущенно стал объяснять, что с него тоже требуют, что он не виноват и больше не будет, но ведь должен же он на меня выписать наряд, а что написать, если человек не работает?

— Крокодил, у меня блестящая идея, я возьму его в мою бригаду. Мы будем работать вместе.

— Но, Борис Петрович, — взмолился бригадир. — Вы же сами не работаете, да еще помощника себе берете. Что я вам в наряды-то напишу?

— Крокодил, — все тем же насмешливым тоном продолжал Борис Петрович. — Я вам обещаю, что начну работать. Вы мне дадите ключ от той комнатушки, что уже построили. И мы с моим другом будем делать для нее печку, чтобы греться на работе. Ведь это же, Крокодил, Сибирь, а не Средняя Азия, где я вас водил в чайхану курить план.[13]

— Не могу же я записать вам в наряд, что вы делаете печку.

— А почему? — улыбнулся Борис Петрович. — Мы сделаем такую чудесную печечку, так будет возле нее тепло! Честное слово, Крокодил, вы будете довольны. Ступайте, Крокодил. Ваше время истекло.

Бригадир удалился.

— Как же вы месяц держали голодовку? — спросил я, обращаясь к нему также на вы. — Вам вводили искусственное питание?

— Вводили, — сказал Борис Петрович. — Только не на седьмые сутки, как положено, а недели через две. Да я не горевал. Мне мент приносил ночью коньячок и пельмени, мы с ним чудесно выпивали и говорили за жизнь, а утром я снова начинал голодать. Но по мне не видно, что я ел, — видите, какой я тощий? Всю жизнь такой. Вы представляете, прокурор, скотина, пришел через месяц и говорит: «А почему ты месяц держал голодовку и на ногах стоишь, не падаешь?» Представляете, какая скотина? Он хочет, чтобы я упал! Я и так страдаю, не могу ночи дождаться, когда мент коньячок принесет и пельмени, а он еще хочет, чтобы я упал! Ну пошли ладить печечку, а то не очень приятно будет тут сидеть со всем этим стадом.

* * *

Борис Петрович воровал сызмала. Он еще застал в лагерях разделение по мастям, кровавую поножовщину.

При нем принуждали воров дать подписку, что они порывают с воровской жизнью. Борис Петрович такой подписки не дал. Его, как и остальных упрямцев, отправили в крытую тюрьму. Все же из тюрьмы удалось ему попасть в лагерь, а оттуда выйти на свободу. Всего за свои сорок три года Борис Петрович просидел семнадцать лет и года четыре провел в ссылке, что для вора равноценно свободе. Это считалось для профессионала большим сроком — обычно его коллеги редко ходили на свободе больше года.

— В эту отсидку мне не везет, — говорил Борис Петрович, прилаживая трубу к печке, которую он сделал из листового железа. — Из БУРа не выхожу. Но сейчас буду сидеть тихо, как мышка. Вот печечка, видите, как я быстро листы заварил? У меня практика. На одной командировке я сказал хозяину, что я сварщик. Ха-ха! Он спросил, могу ли я варить ферму. Я, конечно, сказал, что могу. Работал я два месяца, а когда ферма была уже почти готова, начальству почему-то взбрело в голову посмотреть, как идет работа. Главного инженера чуть не хватил удар. А хозяин кричал: «Ты что же это, сволочь, наделал? Что наделал?» Посадили меня в БУР, но с тех пор я умею варить.

Борис Петрович замотал стыки на трубе асбестовым шнуром и зажег дрова. В печке запылало пламя.

— Чудесно мы заживем здесь, — пообещал Борис

Петрович, — как короли. Вот планчику бы немного покурить. Вы знаете, что это такое? Это же такая прелесть! Такая прелесть! Перед последней отсидкой мы с приятелем одного китайца раскололи. Взяли у него целый пуд плану. Вы представляете, что это такое? В Сибири план стоит три рубля грамм. Китаец, сволочь, не отдавал план. Уж мы его мурыжили, на раскаленную печку садили, по пяткам стегали железом — ничего не помогало. Потом приятель догадался — подвесили мы его мальчишку, лет шести малыша, под потолок, так жена ему давай орать: «Отдай ты им, ведь им ничего не стоит пацана задушить, а потом нас». Отдал. Такой жадный был китаец.

Борис Петрович улыбнулся:

— Не робейте, все будет хорошо!

В комнату ворвался бригадир.

— Уходите побыстрее, — сказал он. — Хозяин идет. Увидит вас в этой комнате — меня раком поставит.

Мы быстро закрыли дверь на замок и побежали на улицу, но в дверях столкнулись с начальником и несколькими надзирателями.

— Вы что здесь делаете? — спросил хозяин.

— Работаем, — ответил Борис Петрович весело и нагло.

— Работаете, — недовольно проворчал начальник. — Знаю я, как вы работаете. Неужели ты, Тащилин, не можешь никакую работу исполнить? Тебе бы на стройке работать, а ты все уклоняешься.

— Вы же знаете, у меня руки вывернуты, — с готовностью ответил Борис Петрович. — Вы же…

Начальник оборвал его:

— Ну, какую-нибудь легкую работу ты можешь выполнять?

— Трудно мне, — сказал Борис Петрович. — Вы же знаете, что меня менты за руки подвешивали. Что я больной.

Начальник поморщился.

— Я не поверю, что ты не можешь выполнять легкую работу, — вмешался кум. — У меня сынишке шесть лет, и то от крыльца снег отгребает.

— О! — Борис Петрович посмотрел куму в глаза. — Так он же у вас здоровенький, гражданин начальник. А я больной, меня менты…

— Заткнись, — крикнул кум, — Я тебя в БУР упеку, бездельник!

— А вы что здесь делаете? — обратился ко мне начальник лагеря.

Можно было, конечно, что-нибудь придумать, но я предпочел перевести разговор на другую тему.

— Вы мне как-то обещали, что подадите протест в суд, если выяснится, что я действительно с первой судимостью попал в лагерь для рецидивистов. Вы, конечно, выяснили, что я не лгу. Как насчет протеста?

И тут… Этот случай мне не забыть. Такого не видывал никто и никогда: начальник лагеря смутился! Он слегка покраснел и неуклюже поправил фуражку.

— Мы не разобрались, — промямлил он, — нам дали разъяснение… Все правильно у вас, но я еще с вами побеседую по этому вопросу.

Мне хотелось, как Фаусту, крикнуть: «Остановись, мгновенье, ты — прекрасно!» Но я не стал портить себе впечатление и опрометью бросился за Борисом Петровичем.

— Здорово, — похвалил мой новый приятель. — А вы обратили внимание, как они не любят, что я им напоминаю о том, что меня менты подвешивали? Я еще пацаном был, лет семнадцати. Они мне назад руки заломили, завязали и веревку через крюк на потолке перекинули. Подняли меня от земли — и так я провисел шесть часов. Руки в плечах, конечно, вывернуты, потому и силы никакой нет. Но этот-то хозяин неплохой, с ним жить можно. На соседней зоне зэки на него тоже не обижались. Вы знаете, почему он перевелся оттуда?

Да, я знал. Рассказывали, что он пришел на работу со своим девятилетним сыном и оставил его на несколько минут, чтобы позвонить из кабинета. У мальчика мяч закатился в запретку, и он полез доставать его. Уже смеркалось, и часовой, заметив, что кто-то движется по полосе, в соответствии с инструкцией расстрелял ребенка очередью из автомата. Начальник лагеря не мог больше работать на прежнем месте, но службу не бросил, искренне, видимо, полагая, что делает нужное и полезное дело.

* * *

Решата выписали из больнички едва у него прекратилась кровавая рвота. Его предупредили: не будет работать — изолятора не избежать. Для язвенника это равносильно смертному приговору. Решат, согнувшись и хватаясь за живот, вышел в рабочую зону, где, на счастье, можно было приткнуться у нас в комнатке, возле новенькой железной печки. Пламя в ней бушевало и ревело, раскаляя докрасна тонкие железные листы. Комната была полна табачного дыма, вони от сушившихся портянок и грязной матерщины. Борис Петрович был сегодня в отличном настроении. Пришел этапом его старый друг Чапа,

которого он не видел более десяти лет. Друзья вспоминали минувшие дни и былых друзей, большинство из которых уже лежало в могиле.

— А Питерский, друг-то твой неразлучный?

— Да, Питерский, — улыбнулся Борис Петрович. — Вышку дали. Помнишь, как мы с ним в Норильске сукам головы рубили? Ну, Питерский, падла буду, хорошо это делал. Я рублю, рублю по шее, а башка не отлетает. А Питерский как-то ловко, бац — и с одного удара отрубил. Ну, орет на меня: чего ты там? А я с трудом отрубил, весь кровищей забрызгался. Вот смеху было, когда мы их головы на вахту принесли. Да, времена были — не то, что сейчас. Сейчас стукачи гуляют, не стесняются и говорить, что стучат. А раньше к хозяину никто один не ходил, всегда с кем-то, чтобы свидетель был, что не стучит, не продает никого. А кстати, Чапа, не слыхал ли ты чего-нибудь о Блатном? Куда он подевался?

— А-а-а, Блатной-то? Неуж не слыхал? Под вышак[14] пошел. С ним смех получился. Удалось ему свалить на поселение[15]. Там встретил одного хмыря, с которым у него были старые счеты. Так Блатной собрал еще троих парней, они этого хмыря раком поставили, а потом распилили бензопилой.

Друзья весело расхохотались.

— Ну, Блатной, ну, Блатной, падла буду, веселый парень, — восторженно сказал Борис Петрович.

— Ты-то сидел уже не так, — поучал Чапа. — Вот в старое время. Да ты вроде застал уже заваруху перед амнистией? Помнишь, сколько полегло? Нашу зону прямо из пушек прямой наводкой.

Решатик сидел в углу, прижав ладони к животу, и натянуто улыбался.

— Держитесь, Хоттабыч, — подбадривал Борис Петрович. — Придет время, и эта кровавая свора поплатится за все. Не за нас; мы — уголовники, до нас никому дела нет и никому не жаль. Но за таких, как вы, она поплатится, и не забудьте записать им и нас, лагерную сволочь. Припомните им разделку по мастям. Сами уже не могли заставить людей работать, так придумали эти масти. Сколько крови пролилось — мне ли не знать, я сам с ворами сидел. Выпейте чайку, Хоттабыч, вам полегчает.

— Ничего — махнул рукой Решат. — Пройдет.

— Сейчас бы планчику покурить, — мечтательно произнес Чапа.

— Да-да, планчику. — Борис Петрович пришел в радостное возбуждение. — От всех болей излечивает. Когда у Любки на ссылке жил, то до того накурился, что свихнулся. Стало мне

мерещиться, что кто-то за мной следит. Я все пытался подкараулить его. Резко обернусь — а он с улицы в окно на меня глядит. Или из-за двери, из-за косяка выглядывает. Я кричу Любке: «Смотри, вот он, вот он!» Любка забрала у меня план, заперла в доме. Ничего, прошло.

Слушатели оживились: тема занимала всех. Кто-то закатал рукав до локтя и показал остальным, что вены у него от долгого знакомства со шприцем попрятались и теперь уже трудно вогнать быстро морфий. Его сосед заявил, что от наркотика можно отстать самому, без помощи врачей.

— Я семь лет на игле сидел, — сказал он, — а взял, да и бросил.

Тут уж возражений было много: дескать, в лагере бросить — не то что на свободе, в лагере и курить бросают легче, а дело это кайфовое, и никак от него отказаться нельзя, да и нет надобности.

— И нет возможности, — вступил в разговор высокий худой фарцовщик из Москвы. Он был хронический алкоголик и кличку в лагере получил Алкаш, а это что-нибудь да значит!

— У меня такие кошмары бывали, когда я бросал пить, что с ума сойти. Раз жена пригрозила мне, что уйдет, если пить не брошу. А я ее, стерву, любил. Первый день промучился ужасно, хотелось опохмелиться, чтобы захорошело, а вина столько вокруг продавалось… Домой пришел, лег пораньше. Вдруг гляжу, из черного угла ко мне белые кресты приближаются. Один большой такой, с человека, а за ним поменьше, по росту, а последний самый маленький. И вот, приближаются они ко мне и увеличиваются в размерах, надвигаются со всех сторон. Я как заорал, обхватил жену, уткнулся в нее, а она плачет, все спрашивает, все спрашивает, что со мной. А арестовали когда, то на вторые сутки в КПЗ опять пришло. Тоже ползут ко мне какие-то жуки, по форме обычные жуки, но величиной с большую собаку. И все я вижу на них четко: и волосы на лапах, и глаза, и усы, и ползут они ко мне, да много так, и растут на глазах — ох, и орал же я. А на третьи сутки рвало — страшно вспомнить! Нет, пить бросать нельзя. Не дай Бог пережить такое.

Алкаш смолк и уткнулся в тетрадку. В ней он делал записи, но не обычные, а стенографическим письмом. У него был свой пунктик: изучить стенографию по учебнику, невесть как попавшему к нему. Идиллию, как всегда, нарушили надзиратели. Они вошли и стали всех переписывать по биркам на бушлатах. Один из них заметил, что Алкаш спрятал за пазуху тетрадку.

— Ну-ка, покажи-ка, что ты там прячешь, — протянул к нему руку бдительный надзиратель. — Давай, давай, все равно никуда

не денешься.

Алкаш покорно отдал свои записки. Надзиратель раскрыл их наугад и недоуменно уставился на странные закорючки. Потом перелистнул несколько страниц, но и там было все то же незнакомое письмо. Надзиратель посмотрел на Алкаша пронзительно, всем своим видом показывая, что видит его насквозь.

— По-нерусски написано? — спросил он, не сводя с Алкаша проницательных глаз. Все языки земного шара у надзирателя делились на две крупные языковые группы: русский и нерусский языки. Из них русский был более или менее понятен, нерусский же был непонятен совсем. Не оставалось никакого сомнения в том, что написано не по-русски.

— Я тебя спрашиваю, — повысил тон надзиратель, — по-нерусски написано? Что тут написано?

Алкаш пожал плечами:

— Это художественное произведение.

— Какое еще произведение?

— Я пишу научно-фантастический роман «Жопа».

— Что-о-о? — заорал надзиратель. — Жопа? Роман? Я тебе покажу!

— Чего орешь, — огрызнулся Алкаш. — Говорю: научно-фантастический роман. Художественное произведение. «Жопа» называется.

— Ты его дописывать будешь в БУРе, — пригрозил надзиратель, — придешь за ним в надзорку в жилой зоне. А сейчас выметайтесь все отсюда живо, по рабочим местам. Ко всем примем меры.

Уголовная братия не спеша пошла на выход. Мы с Решатом тоже вышли. Нас догнал Борис Петрович:

— Посторонних не нужно пускать. А то закроют лавочку, и совсем негде будет греться.

— Попробуй не пусти, — сказал я. — Мне с ними не тягаться.

— Как это так? — удивился Борис Петрович. — А вы скажите — и они уйдут.

Мы вернулись. Борис Петрович ушел куда-то искать чай: комната снова стала наполняться людьми. Я заикнулся было, что не следуем здесь играть в карты, иначе всем будет крышка, но они пригрозили: слово — зарежут. Наконец пришел Борис Петрович. В кармане его бушлата торчала плита чая, а в руках он нес охапку сухих дров.

— Сейчас здесь будет тепло от нашей печечки, — обрадованно сказал он. — Вот чайку достал. — И, оглядев толпу картежников, удивленно спросил у меня: — А почему вы пустили

сюда эту шерсть?

Ни на кого не глядя, подбрасывая в печку дрова, он произнес вслух, как бы разговаривая с самим собой:

— Гнать их надо палкой. Вот дровишки заброшу и погоню…

Картежники, как по команде, поднялись и ушли, не сказав ни слова.

— Ну, Борис Петрович, — сказал я, — умеете же вы с ними обращаться. Как это так вы им сказали, что они послушались и ушли?

— Я же говорил, — согласился Борис Петрович, — сказать им надо, и они уйдут.

— А если не уйдут?

— Как это? — Борис Петрович в изумлении обернулся ко мне. — Такого не может быть.

Но не везло нам сегодня решительно. Вошел капитан и стал орать, что посадит в БУР. Борис Петрович не выдержал.

— Дергай отсюда, крыса, а то весь пятак разобью.

Он схватил молоток, и капитан легко, как балеринка, вылетел из комнаты, пообещав, что о БУРе он позаботится. Борис Петрович с досадой швырнул молоток в угол.

— Опять БУР, — в сердцах сказал он. — Ну и везет же мне в этот раз.

И действительно, на съеме в жилую зону его арестовали.

В бараке меня встретил Алкаш и предложил пойти вместе с ним в надзорку за тетрадкой. Мне тоже нужно было туда за отобранной книжкой на английском, т. е. также написанной не по-русски.

В надзорке тяжелый с похмелья дежурный капитан уныло смотрел в окно, за которым, кружась, плавно опускались мохнатые снежинки. На нас он не обратил внимания, лишь тяжело вздохнул, услышав скрип двери. Справа от него лежали моя книжка и тетрадка Алкаша.

— Гражданин капитан, — прервал молчание Алкаш.

Тот скорбно поднял глаза:

— Чего тебе?

— Отдайте мою «Жопу», — серьезно и требовательно заявил Алкаш.

— Что? Что? — заорал капитан, вытаращив полные ужаса глаза. В них отчетливо читалось: допился, сволочь.

— «Жопу»… — не столь решительно повторил Алкаш. — Научно-фантастический роман. Вот в этой тетрадке.

Капитан швырнул ему тетрадь вместе с моей книжкой:

— Убирайтесь, сволочи, чтоб я вас больше не видел.

Выскочив за дверь, Алкаш злобно рассмеялся:

— Вот племя ментовское, тупое, как сибирский валенок. У нас старший лейтенант на политзанятиях сказал, что в СССР, спасаясь от преследований, гостит жена Чили. Он имел в виду жену Альенде. Ну да черт с ними. Пора на политзанятия, а то опоздаешь — в изолятор утянут. У нас сегодня: «Безработица и нищета в странах капитала». Если на задней койке пристроюсь, может, уснуть удастся.

* * *

Но прошла зима, прошла весна, и снова наступило лето. А с ним прилетели мухи. Они мириадами кружили в воздухе, не давая покоя ни днем, ни ночью. Спать было невозможно — они ползали по лицу целыми легионами, кусая беспощадно. А днем они атаковали столовую и уборную, которые были расположены рядом. Из столовой они летали в уборную, из уборной в столовую, облепляя все, что попадалось на пути, пока наконец не залетали пригоршнями в тарелку с баландой. Чаще всего это у них получалось во время спаривания. Пронзительно жужжа, любовная пара шлепалась в дымящуюся миску. Зэки с веселыми шутками выбрасывали утопленников ложками на стол.

Началась дизентерия. Прошел сезон мух и дизентерии, налетели мошка и комар, которые впивались в тело с сатанинской жестокостью. Ко всему нас переселили на лето из бараков в палатки. Ночью было нестерпимо холодно. Зато днем иногда удавалось, когда не видят надзиратели, снять с себя рубаху и позагорать на солнце, ощущая драгоценное тепло его лучей. В одну из таких редких минут нас с Решатом накрыл офицер администрации.

— Сейчас же одеться, — скомандовал он. — А вы, Джемилев, приготовьтесь на этап.

— На какой этап?

— В больницу.

— Это еще что? Я не просил никакую больницу!

— Как же не просили, — укоризненно сказал офицер. — Вы жаловались, что вас не лечат. Вот мы и предприняли меры, чтобы вас лечили.

Но ведь я жаловался почти год назад, — возразил Решат. — Тогда у меня было обострение язвы, и никто меня не лечил. Теперь же, когда мне значительно легче и я ни на что не жалуюсь, меня посылают в больницу. Зачем именно в больницу? Что, нельзя назначить лечение здесь?

— Я не врач, — отмахнулся офицер. — Разговаривайте с

теми, кто занимается лечением. И идите, готовьтесь на этап.

Офицер ушел. Мы не могли вымолвить ни слова. Наконец Решат прервал молчание:

— Я никуда не поеду. Пусть сажают в изолятор, а я никуда не поеду. Ясно, что на операционном столе меня зарежут. Надо что-то срочно предпринять.

Мы за два часа написали письма тем, на чью быструю помощь можно было рассчитывать. А конвой и надзиратели спешили. Прибежал от них нарядчик, сказал Решату, чтобы немедленно собирался на этап. Решат предложил ему проваливать ко всем чертям. Тогда пришли два надзирателя: если он сам не соберется, то наденут на него наручники и все равно увезут.

— Ты там сам с ними разбирайся, надо тебя лечить или не надо, — сказали они. — А нам дан приказ отправить тебя в больницу, и мы отправим. Через полчаса будь на вахте.

Мы поняли, что ему так или иначе придется ехать. Мне оставались письма. Сразу же отправить их по тайным каналам. Надо, чтоб шум был большой. Решата увезли.

Миша после его отъезда помрачнел. Работал он с ожесточением, хотя сроку ему оставалась неделя. После работы он латал дощатые стены цеха или заравнивал дорогу, чтобы машинам легче было подъезжать.

— Прекрати, Миша, — говорили ему зэки во время перекура. — Идем лучше покурим, ведь освобожденье через неделю.

— Эх, братцы, — вздыхал Миша, бросая лопату. — Не для империалистов дорогу прокладываю, собственную тюрьму благоустраиваю.

Перед освобождением его вызвали к начальнику лагеря на комиссию. Вышел он вне себя от бешенства. Сначала начальник объявил ему о надзоре в течение года и что его место жительства будет ограничено каким-то близлежащим городком. Но Миша ответил, что в Сибири не останется ни за что, тут его ждет только тюрьма, а поедет к своей матери, невзирая ни на какие угрозы.

— Вам, конечно, наплевать, капитан, что я с детства не видел мать, но и удержать меня от поездки к ней не удастся, даже если за это будет тюрьма.

Потом начальник спросил его, не собирается ли он ехать в Израиль, — намек на дружбу со мной. Миша сказал:

— Не смейте произносить это слово. Вы недостойны говорить об Израиле. Вам больше подобает произносить матерщину.

Капитан вскочил, замахал руками, выкрикивая ругательства, но Миша повернулся и вышел, не слушая.

— Так оно и пойдет, — сказал нам Миша. — Надзор, потом

лагерь, потом опять надзор. Такова наша холопская судьба, ничего не поделаешь.

В день освобождения к нему пришла масса народу. В соответствии с традицией, он распил со всеми кружку чифира и, провожаемый добрыми напутствиями, пошел на вахту. По дороге на станцию он взобрался на бугор, с которого был виден весь лагерь, и долго махал оттуда рукой.

Мы увиделись с ним перед моим отъездом из России. На «свободе» изменился он до неузнаваемости. Вместо веселого, жизнерадостного парня передо мной сидел печальный, раздавленный жизнью мужчина и, разводя широченными ладонями, покорно говорил:

— Что поделаешь? Ничего не поделаешь.

Он, действительно, приехал к матери, но на работу устроился только в каменоломню. Собственно говоря, ручная добыча камня сейчас в России почти не применяется. Но для Миши и еще одного бедолаги, тоже бывшего заключенного, такую работу нашли. Велики же у них были воля и стремление во что бы то ни стало избежать тюрьмы. Они аккуратно день за днем приходили утром в каменоломню, а после восьми часов рабского труда спешили домой, к назначенному надзором часу. По прошествии года Мише снова продлили надзор, ибо милиции было неясно, встал ли он окончательно на путь исправления или нет.

* * *

После отъезда Миши стало мне совсем одиноко. Из БУРа сообщили, что во время обхода дежурный стал спрашивать Бориса Петровича, не еврей ли он. Борис Петрович обрадованно ответил, что он действительно еврей и если капитан хочет проверить и пососать, то он готов ему предоставить… Борис Петрович расстегнул штаны, чем вызвал превеликий гнев капитана. Еще больше капитан разозлился, когда сосед Бориса Петровича плеснул в него через решетку из кружки кровью, которую он нацедил из вены специально для капитана.

Капитан обвинил меня во вредном влиянии на заключенных. Его позиция не была для меня новой. Он считал, что все неприятные события происходят по двум причинам: или просто так, или в этом виноваты евреи. А там, где есть евреи, неприятности не могут происходить просто так. Поэтому, когда на съеме с работы нарядчик отозвал меня в сторону, я решил, что мне объявят БУР. Каково же было мое удивление и радость, когда нарядчик доверительно мне сообщил:

— Друг твой приехал из больнички. Иди, встречай.

Я опрометью кинулся в жилую зону. Возле ворот — Решат, живой, невредимый! За кружкой крепкого чая он рассказал: в больнице неделю с ним никто не разговаривал; зачем его привезли и что с ним собираются делать, добиться он не мог. Наконец офицер-оперативник вызвал его на беседу, стал спрашивать, не изменил ли Решат своих взглядов, а потом увещевать: он напрасно выступает крымских татар вывезли из Крыма совершенно справедливо. Решат пришел в бешенство, сказал оперативнику пару крепких слов и вышел, хлопнув дверью. Врач стал убеждать Решата удалить язву. Решат отказался, заявив, что только силой его уложат на операционный стол, что его друзья уже предупреждены об этом.

— Видите, — сказал врач, — когда вам помощь предлагают, вы отказываетесь. Когда же вам ее не могут предоставить, вы настаиваете. Какой вы капризный. Нечего больше тогда и обращаться.

* * *

А в это время совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе шло полным ходом. Было лето 1974 года.

Читая газеты, Решат не мог сдержать своего негодования.

— Ты посмотри, — говорил он, — обмен людьми, идеями. Поменяться бы мне с каким-нибудь участником совещания местами, а потом уж идеями, вот было бы здорово! Но не молчать же! Что-то надо делать. Если они забыли, с кем они говорят и о чем, то надо им напомнить. Если примут формулировку «невмешательство во внутренние дела» пусть заявят открыто, мол, в силу обстоятельств приходится разговаривать с теми, с кем просто неприлично иметь дело.

Мы решили написать письмо к коммунистическим партиям Франции и Италии. Объяснили, что обращаемся к этим партиям не в силу каких-то идеологических склонностей, а исключительно потому, что они являются друзьями КПСС и, как друзья, могут попросить, чтобы им позволили ознакомиться с нашими «делами» и сделать вывод, действительно ли мы «клеветали» на советский общественный и государственный строй или же над нами была осуществлена судебная расправа. Мы, в свою очередь, доверяли им рассказать общественности Западной Европы о содержании наших «дел», которые похожи на другие дела о «клевете», и согласны при встрече обсуждать только содержание наших «дел», не затрагивая вопросов условий пребывания в лагерях для

уголовных преступников. Мы предпринимаем этот шаг, несмотря на то, что он грозит нам дополнительным сроком лишения свободы, только для того, чтобы иметь возможность, в случае если они получат доступ к нашим делам, ценой собственной свободы воспрепятствовать советским властям подсунуть им фальсифицированные материалы. Но если — указали мы в письме — они и вам, друзьям и единомышленникам, постесняются показать наши дела и предоставить встречу, значит, нет никакого сомнения в том, что сами власти являются клеветниками и преступниками.

Конечно, у нас не было ни малейшего сомнения, что советское правительство никому с «делами» знакомиться не позволит, а уж о встрече с теми, кто «не раскаялся» и не «признал свою вину», и речи быть не может. Но мы надеялись, что наше обращение напомнит лишний раз, какого рода культурный обмен им предстоит и с кем. Копии мы послали обычной почтой, через цензуру, а оригиналы я по своим каналам отправил друзьям, и те вывезли их из России. Я так никогда и не узнал, дошли ли письма по назначению. От компартий мы ответа не получили. Но в то время мы наивно полагали, что очень важно рассказать миру, как большие хозяева нашего общего социалистического лагеря, разжигая вражду между евреями и арабами на международной арене, у себя дома одинаково преследуют и евреев, и мусульман.

* * *

Надзиратель открыл дверь камеры, хорошо знакомой по рассказам Миши. Вот сволочь, обязательно нужно запихнуть меня в карцер, а не в обычную камеру изолятора. Здесь, на бетонном полу, без обуви и верхней одежды, за три дня можно загнуться. Дали, правда, тоненькие тапочки, да что в них толку?

Прислонясь спиной к холодному выступу печки, сидел на корточках мужчина лет пятидесяти пяти, с изможденным лицом еврейского пророка, иссиня-бледный, с белыми, помутившимися глазами. Он устало поднял голову, на секунду задержался на мне взглядом и снова опустил ее на ладони. Между стойками с подвесными нарами стоял, дегенеративно улыбаясь, парнишка лет двадцати двух, по кличке Филиппок. Был он роста маленького, по плечо мужчине среднего роста, но известен был как убийца.

— За что тебя, Филиппок? — спросил я. — Опять кого-то убить собирался?

— Ы-гы-ы, — обрадованно промычал он в ответ, показывая

коричневые от чифира зубы.

— А кого?

— Бригадира. Он меня, сука, на физзарядку гнал. Я ему хотел ножик в пузо загнать, а он, пес, в надзорку побежал.

Филиппок подсел к печке.

— Подвинься, Вульфович, — обратился он к своему соседу, — совсем с холоду подыхаю.

— Не греет, не надейся, — ответил тот.

— Вульфович-то с этапа голодовку держит, — пояснил Филиппок. Я ему говорю: загнешься ведь, и так жрать почти не дают, а в холоду таком без еды — хана. Сегодня вот совсем не дают жрать. Только завтра в обед кормить будут. А послезавтра опять ничего. Только кипяток в обед.

Чтобы немного согреться, я стал ходить по камере между двух стоек, к которым были пристегнуты нары. Черт возьми, сколько же я могу так прошагать? Но сесть не на что. Только бетонный пол. Вот откинуть бы нары! Но их открывают только в одиннадцать часов вечера, а сейчас только восемь утра. Я повертел замок: надежная железяка, ее и ломом не откроешь.

— Что, земляк, — вдруг обратился ко мне Вульфович, — лечь хочешь?

— Неплохо бы, — сказал я, — да как открыть? А откроешь — менты увидят и снова запрут.

— Открыть не проблема, — сказал Вульфович, — а насчет ментов не беспокойся. Дежурный мент один не зайдет — ему запрещено по инструкции, а каждый раз звать наряд, чтобы закрывать нары, он не будет. Иначе они бы только этим и занимались.

Вульфович, кряхтя, поднялся и осторожно, одними ногтями, отделил от стены кусок штукатурки. Стена была гладкой, не подумаешь, что в ней может быть тайник. Вульфович достал оттуда причудливо изогнутый гвоздь, поковырял им — и замок открылся. Вульфович откинул нары, положил отмычку в нишу и снова заложил штукатуркой.

— Вот теперь ложись, — сказал он. — Ты не больно-то двигайся здесь. Руками помашешь, согреешься, да энергию растратишь, потом еще холоднее будет. Так что лучше уж не двигайся.

Я лег на холодные доски и свернулся в клубок. Наступила тишина. Сколько же я провел здесь времени? Наверное, часа два не меньше.

— Вульфович, уже прошло два часа, как ты нары открыл?

Оба соседа рассмеялись.

— Ты что, — сказал Филиппок. — Минут десять прошло, не

больше.

— Не может быть.

— Сразу чувствуется, что ты не часто в изолятор ныряешь, — сказал Вульфович. — Филиппок прав, минут десять, не больше.

Помолчали.

— Вот ежели, — забормотал Филиппок, — ты ему ножик в горло засунешь, то он глаза выкатывает, за глотку хватается и перед смертью ногами сучит, задыхается, значит. А ежели в пузо, то нож гладко заходит, как в масло. Гы-ы! Я на той зоне завхоза зарезал, а здешний меня и спрашивает: «Ты меня тоже зарежешь?» — А я ему: «Посмотрим, говорю, как ты себя покажешь».

— Тебя, Филиппок, в больницу-то возили? — спросил Вульфович.

— Возили.

— Ну и что?

— Гы-ы-ы. Сказали, что ненормальный я. Но что еще можно в больницу не ложить. Что, дескать, ежели меня не задевать, то я резать не буду. Так оно и есть, ежели меня не трогают, то я тоже не трону.

Из соседней камеры постучали. Вульфович прислонил ухо к стене, а потом вынул, но уже в другом месте, кусок штукатурки, за которым открылась сквозная дыра в соседнюю камеру.

— Давай, — сказал он в дырку.

Показалась длинная тряпка. Вульфович потянул ее и втащил к нам. Это был мешочек, привязанный к толстой нитке. Вульфович достал из носка пачку махорки, отсыпал из нее половину в мешок и скомандовал:

— Тяни.

Мешок исчез, и Вульфович снова закрыл отверстие.

— Надо парням подогрев послать, — сказал он. — Только вот у меня махра кончается, а что курить будем?

Вульфович раздал нам бумажки для самокруток, отсыпал в них махорки, из едва заметных трещинок в стене достал спичку и кусок спичечного коробка, чиркнул об него спичкой, и мы по очереди прикурили.

— Я, пожалуй, лягу на нары, — сказал Филиппок. — Когда свернешься, теплее кажется.

Филиппок улегся, и снова наступила тишина. Ну и холодище! И время будто тоже застыло. Сквозь заросшее инеем и льдом крошечное окошечко ничего не увидишь, даже свет и то не пробивается. Хоть вой с тоски!

Филиппок завозился, укладываясь поудобнее на холодных нарах.

— Не спится, — сказал он. — Холодно. Вот выйду,

обязательно зарежу его, суку. Бритвой полосну его по глотке, я у парикмахера мойку[16] спер. Опасной лучше всего резать. Если по роже дать — человек сразу падает. А по пузу если шлепнешь — все разваливает. Сквозь телогрейку, сквозь все проходит. Хорошая штука. У-у-у, а пузо смешно резать. Я себе у кума в кабинете в позапрошлом году пузо резал — так шкодно оно лопается. Звук такой — пак, пак. Гы-ы-ы.

Филиппок заснул.

— Задремал, бродяга, — сказал Вульфович. — Мы тут совсем не спим. Так, иногда вздремнешь немного.

— Странно, тебя называют Вульфович, — сказал я. — Ты еврей?

— Еврей. Это мое отчество. Ты тоже меня называй так, если хочешь. — Вульфович улыбнулся. — Обычно в лагерях евреев называют жид. Но меня все называют Вульфович. Меня во всех лагерях знают. Это у меня уже двенадцатая судимость.

— Ого! И чем ты занимаешься?

— Так сразу и не объяснишь, — ответил он. — Вот, последний раз…

Последний раз Вульфович вышел с твердым решением завязать. Устроился рабочим на завод. Через полгода его сделали мастером. Голова у бывшего зэка имелась, а кроме того — умение ладить с людьми, завязывать дружеские отношения, вызывать к себе доверие… Вульфовича сделали заместителем начальника цеха. Дни и ночи он проводил на производстве, и результаты были поразительные. Ему предложили должность старшего диспетчера. Вульфович и там себя показал. Он так наладил работу, что все двигалось, как в часовом механизме: после двух-трех утренних часов и делать-то было нечего. И в этом крылась главная опасность.

Выйдя как-то с завода по делам, Вульфович случайно остановился возле небольшого магазина. Он ничего не замышлял, им двигали исключительно «профессиональные» инстинкты. К нему подошли две женщины.

— Вы, случайно, не работник магазина? — спросила одна из них.

— Да, — машинально ответил Вульфович, осознавая в этот миг, что пропал.

— Не могли бы вы нам помочь купить гарнитур? — дрожа от волнения, заговорила женщина.

— Можно, — согласился Вульфович. — Я сейчас поговорю с директором. Но, между нами, вам придется ему немного заплатить.

— Какой разговор! — закудахтали женщины, хватаясь за

сумочки. — Мы сейчас же, только скажите сколько.

Вульфович искренне возмутился, сказал, что взяток не берет и просто решил помочь женщинам только потому, что ему внушил доверие их приличный вид. Сказал, что директору придется заплатить сто рублей. Но не сейчас, нет, Боже сохрани, только после того, как они купят гарнитур и погрузят его на машину. Никак не раньше. Гарнитур стоил больше тысячи. Вульфович пересчитал деньги, завернул их в газету и отдал сверток женщинам.

— Подождите меня здесь, — сказал он, — я сейчас договорюсь с директором и вернусь.

Через некоторое время он вернулся.

— Все в порядке, — доложил он обрадованным женщинам. — Дайте сверток, я на нем напишу, чтобы касса его приняла, а после, когда вы оплатите счет, подойдите ко мне, я дам команду грузчикам, чтобы они погрузили ваш гарнитур. Он ведь у нас на складе, сами понимаете, выставлять его мы не можем.

Счастливицы побежали к кассе и протянули кассирше сверток. Та недоуменно на них посмотрела. Женщина начала ей объяснять, что «этот» сказал им платить, что все уже договорено, но кассирша только пожимала плечами: она ничего не знает. Кинулись разыскивать «этого», но его нигде не было. Публика недоумевала, кого это ищут две расстроенные женщины.

— Этот, — объясняли они, — такой высокий.

Но ни один продавец его не знал. Наконец развернули газету, а там оказались нарезанные бумажки. Деньги исчезли.

Но Вульфовича уже и след простыл. И была у него последняя, спасительная мысль — пойти к начальнику уголовного розыска, которого он, конечно, хорошо знал, и выложить ему на стол пакет с деньгами, но по дороге встретил он одного из многочисленных лагерных друзей. Зашли в ресторан, выпили, и ветер странствий повлек его по старому маршруту. А пролегал он в основном по южным теплым краям.

В крупный научно-исследовательский институт в Киеве зашел приличного вида пожилой мужчина и попросил у одного из начальников разрешения позвонить по телефону. Ему разрешили. Мужчина набрал номер.

— Алло, алло! Это база горсовета? — спросил он. — А кто говорит? А-а-а, это ты, Соловьев. Я тебя как-то сразу не узнал. Да, да, это я. Что? Да, да. Пятьсот штук махеровых шарфов. Да. Двести штук оставьте, а остальные на продажу. Английские свитера? Ну конечно. Ну конечно, все на продажу… А я говорю, на продажу! Что, для вас уже слово начальника базы не закон? И женские сапожки тоже. Ну, ладно, черт с вами, пятьдесят пар

оставьте. Да, да…

Минут пять мужчина давал указания по телефону, а когда положил трубку, то обнаружил, что окружен плотной стеной сотрудников.

— Ну, пожалуйста, — умоляли его взволнованные женщины, — так трудно что-либо достать. Ну, пожалуйста, мы вас очень просим, посодействуйте.

— Что вы, что вы, товарищи, — говорил мужчина, выставив вперед ладони, — Вульфович с бесподобным актерским талантом изображал сцены, которые я потом, войдя в зону, читал, уже изложенные сухим юридическим языком, в приговоре. — Что вы. Я официальное лицо. Разве можно!

Наконец «начальник базы» согласился.

— Но это долгая процедура, — сказал он. — Сначала вы должны составить список сотрудников и вещей, которые они заказывают. Потом собрать деньги. Выделить человека, который будет товары оплачивать — я же не могу деньги брать, сами понимаете. И тогда я приеду за ним, и он все сделает. Я зайду завтра. Но количество товаров у нас ограниченно. Поэтому я вам сейчас напишу тот лимит, на который можно рассчитывать.

Вульфович быстро набросал им предельное количество вещей, которое он может выделить, и ушел.

На следующий день с утра он зашел в горсовет. Там, за стеклянной конторкой, в вестибюле скучала какая-то служащая. Вульфович подошел к ней и попросил лист бумаги, чтобы написать заявление. Разве жалко кому-нибудь лист бумаги? Разве может кто-нибудь заподозрить, что, давая лист бумаги, он будет участвовать в преступлении? Конечно же женщина дала лист. Мужчина оказался галантным. Написав заявление, он подошел и протянул ей маленькую шоколадку.

— Не надо, не надо, — зарделась женщина, — что вы, из-за листа бумаги…

— Нет, не из-за листа, а из-за отношения, — возразил мужчина. — А как вас зовут?

— Антонина Степановна, — ответила женщина.

— Очень, очень приятно познакомиться, — сказал мужчина, не называя своего имени.

Выйдя из горсовета, Вульфович остановил частную машину и предложил владельцу повозить его по делам. За это он обещал пятьдесят рублей — сумма довольно внушительная. Частник согласился, и они поехали к институту. А там уже ждали взволнованные сотрудники.

— Все готово? — спросил Вульфович.

— Да, — замялся начальник отдела, но вас приглашает к себе

директор института. Зайдите к нему, пожалуйста.

Директор института оказался человеком напористым.

— Я на вас буду жаловаться, — с места в карьер напал он на Вульфовича. — Это безобразие, что вы так ограничили количество товаров, которые продаете нашим сотрудникам. Неужели же база горсовета не может выделить больше?

Тут уж Вульфович не на шутку возмутился.

— Я вообще не обязан вам ничего продавать, — гневно заговорил он, — идите и покупайте в магазине в порядке очереди. А мне это вообще не надо. Что я с этого имею? Ничего, ровным счетом. Вы вообще ничего не получите.

Директор института сразу сбавил тон, но смягчился и Вульфович и обещал, исключительно в виде услуги директору института, выделить больше товаров для сотрудников. Директор вызвал секретаршу, вручил ей список и деньги.

— Вам дать машину? — спросил директор.

— Нет, у меня есть свой шофер, — сказал Вульфович. — Меня ждет у подъезда служебная «Волга».

— Чудесно, — сказал, пожимая ему руку, директор. И, обращаясь к секретарше, приказал: «Выполняйте все указания директора базы. Он вас привезет сюда на своей машине с товарами. Всего хорошего.»

Вульфович сел с секретаршей в машину и поехал к горсовету. Там он попросил шофера подождать двадцать минут. Зайдя в вестибюль, он сразу же направился к конторке своей новой знакомой.

— Вот, Антонина Степановна, познакомьтесь с секретаршей, — сказал он, улыбаясь и показывая рукой на секретаршу директора.

Женщины улыбнулись друг другу.

— Да, Антонина Степановна. У меня к вам маленькая просьба. Пока я буду оформлять дела, не позволите ли вы ей посидеть здесь, подождать меня?

— Ну, разумеется, что за разговор, — ответила Антонина Степановна. — Конечно же, конечно.

— Итак, — сказал Вульфович, усаживая секретаршу, — вот вам бланк, заполните его на ту сумму, которую вам дал директор. А я тем временем оплачу покупку и вернусь за вами.

Секретарша начала заполнять бланк, а Вульфович, взяв деньги, ушел. Навсегда.

Секретарша просидела минут двадцать, а потом стала беспокойно оглядываться по сторонам. Тут в здание горсовета вошел шофер машины. Заметив секретаршу, он подошел к ней и спросил:

— Где этот?

— Какой этот? — спросила секретарша.

— Ну этот, с которым вы приехали!

— А вы разве его не знаете?

— Нет, — ответил шофер. — А вы? Вы его знаете?

— Нет, — сказала секретарша, начав волноваться. — Нет, не знаю.

Она побежала к конторке Антонины Степановны.

— А где этот? — спросила она.

— Какой этот? — удивилась Антонина Степановна.

— Ну этот, который с вами разговаривал.

— Но ведь вы с ним приехали, не я. Откуда я знаю, где он.

— Так вы что, его не знаете? — спросила секретарша.

— Нет, не знаю, — ответила Антонина Степановна.

— Как же так? Он называл вас по имени и отчеству. Он у меня столько денег взял!

Вместо того чтобы сразу обратиться в милицию, они долго выясняли, кто «этот» и знает ли его кто-нибудь. А «этот» уже направлялся в Харьков. Там он сделал то же самое, только вместо Антонины Степановны ему помогал милиционер, охранявший вход в здание обкома партии, которого Вульфович предварительно угостил пивом с сосисками. После Харькова он направился в Москву, где «продал» два автомобиля и несколько тонн фруктов директорам крупных магазинов и многое другое.

— Ничего уже не поможет, — вздыхая, сказал Вульфович. — Если выпала такая судьба, не уйдешь от нее. И чего надо было? Думаешь, нужны мне были деньги? Нет. До сих пор стыдно мне за то, что случилось в Саратове.

Иду, вижу очередь в магазин за мясом. А в телефонной будке одна женщина звонит и говорит кому-то, что мясо дают. Я подошел к ней и спросил, что ей нужно. Она оказалась учительницей. Спросила, не могу ли я достать мяса для всех учителей школы. Я, конечно, мог. Ну сколько это, сто пятьдесят килограмм мяса? Триста рублей. Что они для меня? А для учителя каждая копейка из его зарплаты дорога.

— Сколько же лет ты получил, Вульфович?

— У меня, видишь ли, только частное мошенничество. Так это максимум могли на суде дать шесть лет. Но я всем задавал один и тот же вопрос: «Предлагал я вам что-нибудь?» И все свидетели ответили, что я им ничего не предлагал. А вот они мне предлагали деньги. Так почему же не брать?

Да, Вульфович был опасным волчищем. Страшно было подумать, что он мог натворить, если бы его тюрьма не держала.

Филиппок проснулся. Его начал душить кашель. Минут

десять он кашлял, а потом забарабанил в дверь.

— Чего вам? — спросил дежурный в глазок.

— Подыхаем, — сказал Филиппок. — Переведите в другую камеру. В натуре кончаемся.

— Сейчас поговорю с начальником, — сказал дежурный.

К концу дня нас перевели в другую камеру. Там тоже было холодно, но хоть пол был дощатый. Находилось там четверо бродяг, грязных и синих от холода. На тряпке они подогревали в кружке чифир. Одного из них я знал: это был настоящий гангстер, дружок Варяга. Звали его Гришкой. Он молча шагал по камере, засунув ладони в рукава тюремной куртки. Наконец чифир подогрели, и кружка пошла по кругу. Очередь дошла до молоденького паренька. Он, видимо, недавно пришел этапом, так как я его раньше не видел. Паренек неловко отпил два глотка и передал кружку дальше.

— Э… э… э, — вдруг закряхтел Филиппок. — Я эту падлу знаю. Пацан, ты почему из общей кружки пьешь? Ты ведь пидараст?

Парень испуганно завертел головой. Кто-то сильно ударил его в челюсть. Паренек упал.

— Ишь, падла, с общей кружки пьет, — сказал Филиппок. — Сказал бы сразу, что пидар, так ничего бы не было.

Паренька потащили за нары насиловать.

— Ну не надо! Не надо! — умолял он. Потом он попытался сопротивляться, но ему приставили к горлу заточенный под нож черенок от ложки.

— А давай его в рот, — предложил кто-то.

— Еще откусит, — возразил другой.

— А у меня ложка есть, — сказал Филиппок. — Я ложку пронес. Мы в рот ему ложку засунем, так он ничего не сделает.

Гришка, и без того угрюмый, еще больше помрачнел. Ему все это не нравилось. Наконец он не выдержал.

— Эй, вы, кончайте, — сказал он. — Надоело. Я вообще пидерастов не люблю. И не могу выносить, когда их при мне жарят.

Один из насильников, видно, новенький, Гришку не знал. Другие благоразумно разбрелись по углам, но он, чувствуя себя в праве, сказал Гришке, чтобы тот заткнулся. Парень был здоровенный, куда Гришке было до него.

— Иди-ка сюда, — подозвал его Гришка.

Тот вразвалку вышел из-за нар. Уже подходя к Гришке, почувствовал, что имеет дело с настоящим гангстером. Но было поздно. Гришка запустил ему пальцы в глазницы, под глазные яблоки. Зэк схватил Гришку за руку, пытаясь отодрать его от

своих глаз, но безрезультатно. Никто не решался их разнимать. Наконец Вульфович поднялся и схватил Гришку за руку.

— Отпусти его, — скомандовал Вульфович, — а то, если он заорет, менты сбегутся. Скоро обход.

Вульфовича Гришка послушался. Зэк, зажав глаза ладонями, забился в угол.

— Ты мне будешь затыкать глотку, — хрипел Гришка, обращаясь к побитому. — Для тебя это место временное, а для меня — дом родной. И чтобы мне еще кто-нибудь указывал?

Через трое суток меня выпустили. У, как здорово было надеть валенки и бушлат! Вот счастье-то! Вульфович вышел вместе со мной, — он прекратил голодовку.

— А сейчас, — сказал он, встретив меня в рабочей зоне, — надо думать, как будем жить. Доставать еду. Это главное — достать еду. У тебя деньги есть?

Получив утвердительный ответ, он остался очень доволен.

— Главное — еда, — продолжал он. — Конечно, и на баланде можно прожить. Но тебе не понять этого. Ты не был в лагерях в то время, при Сталине. Каждый день люди помирали от голода. А я, знаешь, как спасся? В бараке для дистрофиков пайку хлеба давали утром. Санитары толкнут дистрофика, если откроет глаза, то дают в руки пайку. А если не откроет — сбрасывают с койки и волокут в мертвецкую. Я пробирался в барак за час до обхода, находил мертвеца, прятал его под кровать и ложился вместо него. Получал его пайку, а когда санитары уходили, ложил мертвеца на место и смывался. Иначе бы не выжил. Я ведь не был вором в законе, я — мошенник. А ворье блатовало тогда люто. Ничего, мы заживем. Поверь мне, лагерную житуху я знаю.

Вульфович достал иэ кармана карты, края которых были сточены стеклом под разными углами таким образом, что он мог перемешивать их в любом желаемом порядке. Карты буквально порхали у него между ладонями.

— Карты в руках держать умею, — с гордостью сказал он. — Редко попадался мне кто-нибудь, чтобы я его не раздел.

Но тут раздалась команда идти на обед. Мы с Вульфовичем — в первой пятерке. От снега пахло весной.

— Кончается зима, кончается, — сказал Вульфович. — Впереди еще три зимы. Всю жизнь одно и то же. Видишь этого дежурного офицера? Я его знаю еще по Колыме. Он был тогда молодой. Кумом работал. Зверюгой был. А сейчас состарился, спился, все ему безразлично. Делает вид, что не узнает меня. Он все и всех знает.

Офицер медленно прохаживался, не отрывая взгляда от земли. Потом остановился в трех шагах от первой шеренги. Все

также задумчиво глядя себе под ноги, он негромко, но внятно сказал:

— Что, Вульфович, сидишь?

— Сижу, — ответил Вульфович, пожимая плечами.

Офицер утвердительно кивнул головой и взмахом руки дал команду на съем.

* * *

Мимо барака, грузно наваливаясь на костыли и перебирая протезами, медленно передвигался лагерный писарь по кличке Канарис. Говорили, что он украл у государства несколько миллионов и, несмотря на изворотливость, получил смертный приговор, который был Верховным судом заменен на пятнадцать лет лишения свободы. Узнать же толком что-нибудь у самого Канариса было невозможно. Он и кличку свою получил потому, что знал все обо всех, о нем же никто не знал ничего. В заключении он находился около десяти лет. Начальство его не любило, но побаивалось связываться. Знал он непомерно много и со своими связями на свободе мог использовать это самым неприятным образом. Поравнявшись со мной, он остановился, внимательно и остро прощупывая своими злыми и смеющимися глазами.

— Свободы дожидаетесь? — спросил он.

— Еще не скоро, — ответил я.

Канарис иронически улыбнулся.

— Вам несколько месяцев осталось. Так ведь? Ну, об этом смешно и говорить.

Канарис двинулся дальше. Я поплелся рядом с ним.

— Скоро, скоро ваш день придет, — бормотал Канарис. — Выйдете из этой помойки и забудете зверье, которое здесь обитает. У меня, кстати, тоже появилась надежда. Недавно узнал, что мне сняли еще три года. Через два года, следовательно, и я ухожу.

— Многовато пробыли в такой обстановочке.

— А куда денешься? Привыкаешь. Кстати, обстановка меняется, хоть и медленно очень, подчас незаметно для взгляда. Я, знаете ли, вел статистику, пока меня начальник лагеря не попросил уничтожить тетрадку. Кое-что было интересно. Например, девять лет назад, когда меня сюда привезли, находилось в лагере пятьсот человек. В соответствии с установленными нормами. Сейчас на тех же площадях тысяча человек. О нормах уже никто не говорит. Состав тоже меняется.

Еще лет пять назад больше всего было хулиганов, а остальные — грабители, воры, насильники. Да и образование у них было крайне низкое, если вообще можно говорить об их образовании. А сейчас все больше пригоняют лиц со средним и даже высшим образованием. И преступления не те. Шире по размаху, подготовке, жестокости. А есть и совсем интеллигенты, и промысел-то у них интеллигентный. Да, вы не знакомы ли с новеньким, с этапа? Давид его зовут. Он, кстати, еврей, вам интересно будет с ним познакомиться. Только не распространяйтесь, что это я вам сказал.

Канарис заковылял дальше, а я пошел разыскивать новичка. Зайдя в барак, я сразу же его увидел: интеллигентное лицо, растерянный взгляд, богемные манеры… Я представился. Давид весь засветился радостью. Его оглушил самый вид лагеря, а уж обитатели внушали мистический ужас и отвращение. Он никак не мог понять, почему и из-за чего они дерутся, к чему такая жестокость и не лучше ли в тяжелых условиях помогать друг другу, вместо того чтобы делать существование совсем невыносимым.

— Может, тебе что-нибудь надо, — суетился он, — я с этапа привез кое-что. Ой, куда же я задевал меховые варежки? Поищи, пожалуйста, в мешке, где-то тут. А у меня сигареты есть. Я их, кажется, в тумбочку положил. Ах, нет, их здесь нет. О! Вот они, под подушкой. Быть может, ты хочешь…

Я остановил его.

— О, тебе кажется, что я непоследовательный. Это у меня в крови. К тому же я до сих пор не могу поверить, что мне сидеть девять лет. Девять лет после такой жизни, которую я вел! Москва, богема, лучшие курорты, непрерывное колесо веселья и риска, и мысль, что могу все это делать безнаказанно. И так все бы и продолжалось, если бы я не подал заявление на выезд в Израиль. В сущности, я в Израиль ехать и не собирался, была у меня невеста в одном из посольств, и я хотел уехать из России, чтобы на ней жениться. Но подал документы — и меня арестовали. Материалов у них оказалось достаточно. Если любопытно — прочти приговор.

Он протянул мне свернутые в трубку листы. Читать их помимо всего прочего было просто забавно; тут и антиквариат, и редкие иконы, и старинное золото и серебро, и встречи с бизнесменами из-за границы — словом, целый приключенческий роман. И даже наряду с редкими серебряными столовыми сервизами или дорогими картинами — двести пар каких-то тапочек.

— Уж я умолял следователя, — сказал он, — не писать это в

обвинительном заключении. А вместо этих тапочек я был согласен на любое увеличение суммы иска. Но нет, он не согласился. Ах, какой позор, антиквариат — и тапочки! Но девять лет — подумать только! А следователь мне сказал:

«Конечно, вы жили хорошо. Но за хорошую жизнь девять лет… это слишком много». Он прав, но что же делать? Даже если вернуть все обратно, разве я не стал бы делать то же самое?

— Все можно понять, — ответил я, — но почему тебя так поражает лагерь? Ведь ты, должно быть, не первый раз сидишь.

— Конечно, нет. Второй. Первый раз я сел более десяти лет назад. Да и что это был за лагерь! Во-первых, под Москвой. Во-вторых, все люди с первой судимостью. А в-третьих, это было больше похоже на детский сад.

Работа нетяжелая, народ приятный, не было такой темной уголовщины. Отец часто приезжал. Словом, полтора года прошли незаметно. Никогда не думал, что может быть такое. А когда меня из Лефортовской тюрьмы повезли на этап — тут-то я увидел…

Я, как мог, пытался скрасить ему существование, а он подолгу рассказывал мне про жизнь московской богемы. Был он хорошим рассказчиком и веселым парнем, а это немаловажно в тюремных условиях. В рабочей зоне, когда не подвозили лес, мы коротали время в крошечной мастерской у Станислава — зэка, сидевшего по статье 190 и потому предоставлявшего мне приют, как коллеге. Статью свою Станислав получил за то, что разбросал в лагере антикоммунистические листовки да водрузил ночью на бараке белый флаг с надписью: «Смерть коммунистам». Его увезли в томскую больничку, в психушку, где вводили «растормозку» — препарат, после которого легко можно заставить человека отвечать на вопросы. Но Станислав знал, что, если он выдаст участников, будет «групповая», а за это сроки огромные. Если же не выдаст — пойдет как одиночка, за что дадут срок значительно меньший.

— Все это можно перебороть, — говорил он, запаивая какие-то проводки. — Если внушить себе, что не заговоришь, то никакая «растормозка» им не поможет. Только вот нервную систему это сильно разрушает. Совсем плохо мне после психушки. Ох, как плохо.

— Лефортово, конечно, самая хорошая тюрьма, по сравнению с теми, о которых мне приходилось слышать, — отозвался Давид. — Но и там есть злые порядки. Там на психику давят профессионалы. Сидишь ты на допросе вроде бы непринужденно, рядом со следователем, и он с тобой участливо разговаривает. Спрашивает, как здоровье, как настроение. Успокаивает. Говорит: «Ну, какие ваши годы, у вас жизнь впереди». А сам в это время

черными чернилами пишет на бумаге «Давид». Потом говорит: «Вам, кажется, тридцать два года? Стоит ли вам так запираться, скрывать участников?» В это время обводит мое имя черной рамкой. «И из-за кого вы себя губите?» — спрашивает. И рисует над рамкой могильную насыпь — «Разве не хочется вам жить?» — и далее рисует над насыпью могильные кресты. А ведь ты знаешь, что совсем беззащитен, что сделают с тобой все, что захотят. Бесполезно на что-то рассчитывать. Я знал много отчаянных ребят. Были такие, что первые пару недель кричали в кабинете у следователя, что ненавидят всех коммунистов, что вообще не желают говорить и плюют на все, а потом вдруг сникали, начинали плакать и выкладывать не только то, что было, но и чего не было. А уж когда заговоришь, тут у них все чудеса техники; и телевидение, связывающее некоторые кабинеты, и звукозапись, и что только хочешь. За девять месяцев из меня там вымотали всю душу. И ни одного грубого слова.

— В этой системе везде не сладко, — согласился Станислав. — Но это наша судьба, и мы должны к ней привыкнуть. Только плохо вот, что потом мы к этому будем приучать других. Так оно на Руси и идет. Никак страсти не улягутся.

Давид часто мне рассказывал про свою невесту. Утверждал, что после его ареста она целый год на что-то надеялась. А теперь нет о ней никаких известий, видимо, уехала из России к себе на родину. Печально глядя на заснеженные холмы, он подробно объяснял, где она живет и как я смогу встретить ее или ее родителей, если выберусь из России.

— Она едва ли будет помнить обо мне, — сказал он, — но ты все же расскажи, что видел меня в Сибири. Что мне, быть может, и не выйти на свободу, но пусть знает, что я ее помню, что просил передать ей привет. Что, видно, не судьба мне…

* * *

И, наконец, начал приближаться день моего освобождения. Почернели снега, заговорили, зажурчали нежно апрельские ручьи, запахло ледком, покрывающим лужи по вечерам. Защебетали весело первые стайки перелетных птиц. А зона превратилась в грязную, топкую клоаку. Сапоги утопали в размякшей глине, засасывающей, хлюпкой. Задули пронизывающие весенние ветры. Ничего, перетерпится. Через несколько дней меня должны освободить. Неужели случится такое? Как это там люди без конвоя ходят? Разве можно? Я зашел

в жестянку погреться. Там сидел молоденький паренек, пришедший на прошлой неделе этапом. Вид у него был растерянный и несчастный. Очень удивился, когда я предложил ему сигарету, — видимо, за последнее время натерпелся от человеческой злобы. Представился — Николай.

— За что попал? — спросил я его.

Он лишь махнул рукой.

— Дурость все. Пьянка. А вообще-то я не со свободы, я с общака. Там раскрутился.

— А за что на общий режим попал?

— Э-эх, не спрашивай. Из деревни я. Пил, конечно, — а кто в деревне не пьет? Как-то наскребли с дружком на бутылку, выпили, а закусить нечем. А знамо дело было, что у соседки петух клевачий.

Я едва сдержал улыбку. Встречалось и до него немало людей, осужденных за совершенную нелепость, и всегда серьезный, трагичный вид рассказчика придавал их рассказу жестокий, бессмысленный комизм.

— Так что ж, если петух клюется, это еще не основание, чтобы его украсть.

— А чего он клюется, — вызывающе ответил Коля. — А потом, если уже красть, то клевачего. Чтоб не клевался.

Коля замолк, ненадолго задумавшись, а потом, пожав плечами, продолжал:

— Взаправду — сам не знаю. По пьянке шарахнуло в голову — ах ты, собака, клевачий — так мы тебя съедим. Забрались к соседке в сарай. Взяли первого попавшегося, свернули башку. Спичкой посветили — не то. Курица. Я говорю дружку: «Ну, уж коли за петухом пришли, так все равно его надо взять». И взяли. А нашли нас быстро. По пуху во дворе. Дали всего полгода общего режима. А там, за месяц до освобождения, не знаю, что со мной стряслось. Обидели меня — я лом схватил и все кости ему переломал. Просто не знаю, что со мной стряслось. За месяц до освобождения.

Он схватился руками за голову. Тут дверь в жестянку распахнулась, и внутрь с грохотом ввалилась ватага блатных. В центре внимания был маленький и худой, полусгнивший в лагерях вор по кличке Глухой, пришедший тем же этапом, что и Коля. Глухой уже третий раз попадал в этот лагерь, и потому знали его все. Улыбаясь и жестикулируя, он описывал на блатном жаргоне свои похождения на свободе. Понять, о чем он говорит, было порой невозможно.

— Канаю я, на мне лепня, — с азартом рассказывал он. — Гляжу, катит понтер с понтершей. Тут я у него щипнул шмеля…

— Ты лучше расскажи, как попался, — перебил его кто-то, хлопнув ладонью по спине.

— Что? — не понял Глухой.

— Попался, говорю, как? — заорали ему в ухо. — Расскажи, падла глухая, еще раз посмеемся.

— А-а, как попался? — с улыбкой закивал Глухой. — Устроился я на мясокомбинат. И со старухой одной договорился, что мешок с мясом ей через забор переброшу. За четвертак, маш-ты.

Глухой вместо, «понимаешь ты» произносил непонятное «маш-ты».

— Она, конечно, обрадовалась, маш-ты. А я наложил в мешок…

Далее Глухой рассказал, как он утрамбовал килограмм тридцать половых органов от всякого скота и перекинул груз через забор. Старуха, кряхтя и надрываясь под тяжестью, поплелась домой. А там, раскрыв мешок, пришла в такой гнев, что решила обратиться в милицию, не понимая по простоте душевной, что сама участвовала в краже.

— Ее тоже, каргу, судили, — сказал Глухой под общий хохот и улюлюканье. — Маш-ты, стоит, коза, рожа вся в морщинах, как будто по ней конвой прошел. Я ей говорю: сука, ты рожу-то что, из мудей сшила?

— Га-а-а, — заблеяла банда.

А Глухой продолжал:

— Все почти, кто освободился, в следственной сидят. И те, кто на поселение свалил, и те козлы, что досрочно освободились. Костыля помните? Как он закладывал всех, перед кумовьями раком стоял, освободиться досрочно хотел, маш-ты. А только вышел, на третий день какого-то шофера замочил и поджег машину. Маш-ты.

Глухой закашлялся, хватаясь за разъедаемую туберкулезом грудь и хрипло отхаркался. Коля посмотрел на сгусток кровавой мокроты и побледнел.

— Если выйду на свободу, — пробормотал он, — никогда больше сюда не попаду.

Сосед хлопнул его по плечу:

— Привыкай, земляк, ты уже наш. Никуда не денешься.

Колю начало тошнить, и он выскочил из жестянки.

— А Васька-жмых, слыхал что-нибудь о нем? — орали Глухому в ухо.

— Тоже сидит. Все, кто вышел, сидят.

Снаружи послышались крики. Мы выскочили посмотреть, что происходит. А там надзиратели вели кого-то под руки к

проходной. Тот упирался и кричал: «Ну оставьте меня!»

— Ха, нашелся Сивый, — заговорили в толпе. — Вчера ему нужно было освободиться, а он запрятался куда-то. Всю жизнь в тюрьме просидел, теперь на свободу боится выходить.

— Не может быть, — сказал Коля. — Как это так?

— А так. Ни дома, ни родных. Ничего не знает, как жить, где деньги зарабатывать, как прожить. Хоть подыхай ему на свободе. А здесь он точно пайку свою получит, и койка есть.

— Что глазеете, — прикрикнул на толпу надзиратель. — Уж время съема. Всем на вахту.

Мы подошли к месту, где проводили шмон. Неподалеку были ворота лагеря и проходная, над которой висел огромный портрет паренька с челкой, которую разрешают отращивать перед освобождением. Паренек смотрел открыто, честно, держа на вытянутой руке паспорт. Под картиной крупными буквами было написано: «На свободу — с чистой совестью!»

Кто-то тронул меня за плечо. Я оглянулся. Это был Иося, «авантюрист двух столиц», как называло его начальство, так как он проводил свою бурную деятельность в Баку и в Москве. Иося улыбался загадочно, лениво. Под зэковским бушлатом виднелся дорогой шерстяной свитер. Иося снял кожаную варежку, подбитую хорошим мехом, и достал пачку «Малборо».

— Закури, — предложил он. — Эти сигареты и на свободе-то достать трудно.

Увидев, что я не могу оторвать взгляда от плаката над проходной, он хлопнул меня по плечу:

— Не думай ты ни о чем, — сказал он. — Пройдут и эти дни. Выйдешь ты за ворота, вздохнешь полной грудью, выплюнешь всю эту мерзость и забудешь навсегда.

Через три месяца после лагеря я уезжал из России. Долгие годы понадобились, чтобы подойти к трапу самолета, вылетавшего из Шереметьевского аэропорта в Вену. Я был последним пассажиром, поднимавшимся на посадку, — на проверке меня задержали дольше всех. Но пройден и этот последний пост. Я задержался на верхней ступеньке трапа. Последний раз оглядел гигантское поле Шереметьевского аэропорта, деревья вдалеке, ряды самолетов. Нет, нельзя уезжать из России только с ненавистью в сердце. Не только печалью красила она ленту коротких дней нашей жизни, но и весельем, и смехом, и дружбой искренней и бескорыстной. Я поднял руку в знак прощания. Пограничник, стоявший у трапа, поднял руку в ответ.

Январь 1978 г.

notes

Примечания

1

Левитан — на тюремном жаргоне лицо, которое приносит объявления, документы для расписки, приказы но тюрьме и т. д.

2

Высшая мера наказания — расстрел.

3

Чай в лагере обычно продается прессованный, в плитках.

4

РЦД (блатной жаргон) — рецидивисты.

5

Барак усиленного режима. Предназначен для злостных нарушителей лагерного режима.

6

Получил срок в лагере, не выходя на свободу.

7

Заместитель начальника лагеря по оперативной работе.

8

Шнырь — дневальный в изоляторе, из зэков. Доверенное лицо администрации, выполняющее все хозяйственные работы в изоляторе — топку печей, разноску еды и т. д.

9

Передача.

10

Крытка — крытая тюрьма. Название подчеркивает отличие от следственной тюрьмы. В «крытке» содержатся злостные нарушители лагерного режима, отправленные в тюрьму за преступления, совершенные уже в лагере.

11

Рашид Бейбутов — известный советский эстрадный артист.

12

Хоттабыч — персонаж популярной детской книжки.

13

План — наркотик, разновидность гашиша.

14

Под расстрел.

15

Вид ссылки.

16

Бритва. В данном случае — опасная бритва.